

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 15

Борьба продолжается (продолжение)

В 1967 году постановлением Президиума Ленинградского горсуда был реабилитирован Михаил Михайлович Бахтин (о чём ни он сам, ни Кожинов не знали ещё долгое время: Кожинов ещё годы, прошедшие после смерти Бахтина, был убеждён в том, что никакой реабилитации так и не состоялось). В этом же году началось массовое переиздание книги “Проблемы поэтики Достоевского” в Югославии, Италии, Японии. Через год “Творчество Франсуа Рабле” выходит в английском переводе в США.

По следам опубликованной в “Вопросах литературы” двумя годами ранее статьи “Слово в романе” (предоставленной Кожиновым), явившей настоящее открытие романного слова, в парижском журнале “Critique” появляется статья Юлии Кристевой “Бахтин, слово, диалог и роман”, где автор написала, что “обладая вдохновенной, а временами и просто пророческой манерой письма, Бахтин ставит коренные... проблемы”. Правда, при этом Кристева почему-то попыталась увязать Бахтина... со структурализмом. Кажется, прочтя именно эту статью, директор ИМЛИ Борис Сучков, ранее и слышать не хотевший о Бахтине, тут же “признал” его, затвердив парадоксальное словосочетание “структурализм бахтиньен”, чем очень веселил Кожинова. О подобном “прочтении” Бахтина Вадим Валерианович напишет позднее: “... Многие западные авторы сводят “бахтинизм” к новой интеллектуальной “игре”, заменившей игру в структурализм и т. п. Но это утверждение или даже “обвинение” вовсе не означает, что на Западе вообще не понимают существа философии Бахтина. Речь идёт о модной волне, захватившей многих, но в основе её всё же если и не полное понимание, то хотя бы острое чувство глубины бахтинского “откровения”...”

7 августа 1968 года Кожинов пишет Бахтиным в Саранск:

“Дорогие Елена Александровна и Михаил Михайлович!

Давно не писал Вам, ибо последние полтора-два месяца прошли в почти историческом состоянии квартирного обмена. Страшная женщина, о которой я Вам, конечно, рассказывал, довела меня до раскольниковского состояния. Но, слава Богу, всё позади. Теперь можно спокойно жить до смерти.

Вы, очевидно, уже слышали обо всём от моего старого друга Володи Королёва. Позавчера квартира стала, наконец, целиком нашей.

Продолжение. Начало в №1-7,9 за 2019 год, 1-5,7-12 за 2020 год, 1-3 за 2021 год.

Не знаю даже, о чём ещё написать. Очень хотелось бы приехать, но удобно ли это сейчас, когда Елена Александровна ещё нездорова? Напишите хотя бы пару строк.

Мой новый адрес: Москва, Г-19, ул. Мясковского (это бывший Большой Афанасьевский пер. на Арбате), д. 35/37, кв. 14. Тел. 2916728.

Буду с нетерпением ждать.

Как статья “Гоголь и Рабле”, о которой меня всё время спрашивают в “Вопросах литературы”?

Приезжала из Англии Байкова-Ариян, которая была в последние годы другом семьи Николая Михайловича, привезла несколько его тетрадей со стихами и записями философского характера.

Она говорила о нём с редким восхищением и любовью. Обещала привезти его дневники и письма.

Саша растёт. Лена наслаждается материнством, старшая моя дочь окончила первый курс Мединститута (ф-т биохимии). Мы с Бочаровым живём в Переделкине, но я, в основном, в Москве, занимаюсь ремонтом квартиры. Вот и всё.

Напишите.

Безгранично Ваш В. ”.

“Страшная женщина”, о которой идёт речь — это последняя жена Владимира Владимировича Ермилова, превратившая жизнь кожиновской семьи, с которой Кожинины вынуждены были делить общую площадь, в сущий ад. До осени 1966 года Вадим Валерианович, Елена Владимировна и Сашенька жили в Лаврушинском переулке в ермиловской квартире. В октябре месяце того года перебрались, как выразился Вадим Валерианович, в “маленькую квартиру родителей вдовы Ермилова” на Мосфильмовской улице. И, наконец, обрели своё постоянное жильё на улице Мясковского.

О “старом друге Володе Королёве”, с которым Кожинин познакомился ещё в самом конце 1950-х, вспоминал Сергей Бочаров:

“Познакомился Вадим с Королёвым так. У Кожинина вышла статья в “Вопросах литературы” (очевидно, имеется в виду статья “Роман — эпос нового времени”, опубликованная в 1957-м. — С. К.)... На статью Вадима совершенно не известный грузчик из ленинградского порта Владимир Королёв написал письмо. Вадим ему тут же ответил, и завязалась переписка. Потом Королёв пригласил его к себе домой. Вадим с Еленой поехали к нему в Ленинград. Потом Королёв приехал к Вадиму в Лаврушинский, и Вадим познакомил меня с ним. Мы подружились. В декабре 60-го года я и Вадим с жёнами гостили у Королёва в Ленинграде. Между прочим, этот Королёв организовал у себя в порту забастовку (её причиной была задержка зарплаты на один день). Через несколько дней зарплату прислали, но Королёва выгнали из порта. Потом Королёв с Кожининым разошёлся, а я продолжал с ним дружить...”

Статья “Искусство слова и народная смеховая культура (Рабле и Гоголь)”, которую ждали в “Вопросах литературы”, так и не была там напечатана. Она дождалась своей публикации лишь в 1973 году в одном из ежегодных сборников научных трудов “Контекст”, издаваемых Институтом мировой литературы.

Что касается родного брата Михаила Бахтина — Николая Михайловича, жившего уже много лет в эмиграции в Англии, — то сам Михаил Михайлович особо не жаждал никакого возобновления связи с ним, называя его “коммунистом” и вообще как-то исподволь отстраняясь от всякой информации о нём, приносимой Вадимом Валериановичем. Сама по себе ситуация заставляла о многом задуматься: отбывший в эмиграцию один брат, ставший “коммунистом”, — и не пожелавший покинуть Родину другой, для которого слово “коммунизм” ассоциировалось с самыми чёрными страницами его биографии.

При всём том, как позднее проследит эту “линию жизни” Бахтина Кожинин, сделал непреложные выводы, — труды Михаила Михайловича вполне могли быть опубликованы ещё перед войной, и столь длительная задержка их обнаружения объяснялась, с одной стороны, совершенно “непробивным” характером их автора, с другой — отсутствием поддержки влиятельных людей в нужное время. И, конечно, немаловажную роль в этой задержке сыграла война.

В это же самое время состоялась встреча Владимира Турбина с Юрием Андроповым, которую организовала дочь нового председателя Комитета государственной безопасности. Первая волна мировой славы Бахтина не могла не

произвести впечатление: уговоры Турбина подействовали, и через год супруги Бахтины были определены в Кунцевскую кремлёвскую больницу на лечение. В Саранск они больше не вернутся.

Кстати, Кожин, узнав, что Бахтин в очередной раз отказался от звания профессора, которое ему настойчиво предлагали в Саранском пединституте (при отсутствии докторской степени!), выразил своё недоумение этим отказом. И получил новый урок: “Я – философ, а философ должен быть никем, – внушительно произнёс Михаил Михайлович, закуривая очередную папиросу, – ибо иначе он может начать приспособлять философию к своему социальному положению”.

“Идея – это живое событие, разыгрывающееся в точке встречи двух или нескольких сознаний”, – запомнил благоговейно внимавший Кожин слова Бахтина, который в ответ на благожелательное восхищение начавшейся мировой славой с иронической улыбкой заметил: “Вы выпустили джинна из бутылки”, – прекрасно отдавая себе отчёт в обилии возможностей превратного и извращённого толкования его идей.

Кожин вспоминал, что, услышав вопрос о соотношении христианских конфессий, Бахтин без колебаний ответил, что человек, причастный России, может исповедовать именно и только Православие (что осталось в русском философе совершенно не понятным даже его старой подружкой ещё с Невельских времён, знаменитой пианисткой и истово православной женщиной Марией Юдиной, которая заявляла, что книгу “Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса” православный человек не должен хранить у себя в доме, как будто не вбирая в сознание, что в этой книге запечатлён мир Католической церкви). В этой связи крайне интересна ещё одна сцена из обрывочных воспоминаний Вадима Валериановича:

“Уже к концу 1960-х годов я навещал Бахтина в подмосковном писательском санатории “Малеевка”, где он отдыхал и лечился. Неожиданно пришёл новый паломник – публицист Юрий Карякин – и задал вопрос об отношении к Бердяеву, которого он тогда начал читать. Бахтин сказал, что это его наиболее полярный противник, поскольку, как он выразился, с бердяевской точки зрения Бог нуждается в человеке, а он, Бахтин, всё же полагает, что, напротив, человек нуждается в Боге...”

Затем, впрочем, дело обернулось совсем по-иному. Ю. Карякин, обрадовавшись суждению Бахтина, стал весьма резко критиковать Бердяева с ортодоксально марксистских позиций. И тогда Бахтин, вообще-то очень сдержанный и совсем не склонный к жёстким спорам человек, с незнакомой мне до того решительностью возразил, что, если проблема ставится так, как делает Карякин, он предпочитает “остаться с Бердяевым” (которого он, кстати, в своё время знал лично)...”

Бердяев стал своего рода “модным чтением” в интеллектуальных кругах, и многие попадали под “бердяевский соблазн” (в частности, это напрямую касалось членов “Всероссийского социал-христианского союза освобождения народов”), а иные оттачивали на Бердяеве марксистско-ленинский “инструментарий”, как тот же Карякин или Юрий Трифонов, герой повести которого “Предварительные итоги”, вскоре опубликованной в “Новом мире”, вещал о дурно пахнущем увлечении “белибердяевщиной”.

И таких ведь было немало... И Кожин слишком хорошо знал цену всем этим выпадам, притом, что сам, изучая полемику Бердяева и Розанова, целиком был на стороне последнего.

* * *

Ещё до “новгородского съезда” в Центральном совете Всероссийского общества охраны памятников (которое насчитывало уже 2 миллиона членов по всей стране) по инициативе газеты “Советская культура” состоялся “круглый стол”, посвящённый проблемам сохранения культурного наследия. И каждый за этим столом делился самым наболевшим.

Доктор исторических наук Н. Воронин:

– На днях я получил сведения, что в маленьком древнем городке Юрьеве-Польском, знаменитом своей земляной крепостью 1152 года и резным белокаменным храмом XIII века, “привязывают” к древним валам два высотных

здания. Неужели они нужны в Юрьеве и почему ими нужно обязательно изуродовать древний центр города? Во Владимире, являющемся центром “Владими́ро-Сузда́льского историко-архитектурного музея-заповедника”, готовится решение о сносе остатков аркады торговых рядов – примечательного памятника города конца XVIII века.

Академик Борис Рыбаков:

– О воздухе мы вспоминаем, когда нам его не хватает, о памятниках мы начинаем говорить, когда им грозит какое-то бедствие. Подлинным бедствием для памятников истории, архитектуры и археологии является позиция некоторых хозяйственников, которые ради чисто экономической выгоды разрушают старое, поднимают руку на священное для нас. Памятник может быть и тысячелетним, и связанным с недавними событиями, например, с годами Великой Отечественной войны. Ледовое побоище и битва под Сталинградом священны для нас.

Пытаясь понять, почему же руководители хозяйственных предприятий безоглядно поднимают руку на памятники истории и культуры, приходишь к выводу, что в этом повинны мы, историки. В своё время мы не сумели воспитать молодое поколение в духе уважения к памятникам.

Писатель Валентин Иванов:

– Если говорить о воспитании, о преподавании истории, нельзя не вспомнить о серьёзных промахах в этом деле. Уже несколько поколений советских школьников воспитано по формуле: старую Россию всегда били за невежество и отсталость (свидетельствую: воистину так! Нас, школьников 60-х, обучали на уроках истории в это время именно в данном ключе – в ключе выступления Сталина на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности в 1931 году. Сталин давно умер и развенчан, лишён звания “корифея всех наук”, но дело его живо! И хватает же совести иным нынешним псевдоучёным приписывать всем поголовно тогдашним членам Общества охраны памятников истории и культуры “сталинизм”! – **С. К.**)

А если, к примеру, проанализировать войну 1812 года с технической точки зрения, то нетрудно убедиться, что вооружение русской армии, изготовленное в России, ни в чём не уступало вооружению армии Наполеона, изготовленному во Франции. Но во всех учебниках истории берётся в расчёт только лишь героика побед и забывается то немаловажное обстоятельство, что технический уровень русской промышленности был ничуть не ниже уровня передовой по тем временам промышленности наполеоновской Франции.

Святослав Котенко:

– Куликово поле... Место, священное для нас. На краю поля расположен скотный двор. Почему его там построили? Я разговариваю с директором местного совхоза. Это молодой специалист, эрудированный человек. Хозяйство старается вести по-передовому. Всё, кажется, на месте... А вот что Куликово поле и скотный двор не могут быть соседями – не понимает, более того, даже откровенно недоумевает: а что ж в этом особенного, ведь рядом с таким большим зелёным полем скотный двор – выгодно...

Как не вспомнить в связи с этим такой случай. Недавно в древнем и славном русском городе Коломне проходила интереснейшая по замыслу тематическая выставка детского рисунка “Памятники истории и культуры”. О выставке было объявлено по радио и в газетке, висели афиши, специально сообщили школам. И что же?... На открытие пришло всего девять человек. В городе со стотысячным населением не нашлось ни одного учителя, который бы сам пришёл и привёл с собой на выставку ребят...

Археолог, член-корреспондент АН СССР Валентин Янин:

– Мы должны сохранять памятники не только потому, что они что-то напоминают, они содержат высокий потенциал для расширения наших знаний. Я считаю, что в этом отношении труд историка, археолога, искусствоведа не менее замечателен, несёт не меньшее чудо, чем труд физика или человека, который участвует в коллективе, посылающем ракеты в другие миры.

И, наконец, настала очередь Кожинова:

– Я говорю об “отчем доме” в самом прямом смысле этого слова. Произведения искусства дают человеку неизмеримо меньше, ибо находятся вне его. Это объект созерцания. Архитектура же – единственное искусство, в котором человек живёт.

Возьмите любой старый московский переулок. Каждый дом имеет своё лицо, каждый дом, как человек, отличается друг от друга. Пусть он даже в архитектурном отношении более чем скромен. Мы не задумываемся над тем, что если убрать эти старые “живые” дома и заставить человека жить среди гладких стен и асфальтовых тротуаров, то человека не станет. Строя новые здания, нам следует бережно заботиться о сохранении тех, в которых “выражен человек, его история”, потому что переоценить эту ценность невозможно.

Материалы “круглого стола” были напечатаны в “Советской культуре”, и одним из авторов статьи была Тамара Александровна Князева, ставшая нежной подругой Вадима Валериановича.

В это же время Кожин впервые с конца 1950-х обратился к теме кинематографа. Он опубликовал в “Московском комсомольце” статью “Массовое” и “немассовое” кино”, в которой пошёл поперёк насаждавшейся повсеместно мысли, что есть кино “для масс” и есть кино “для немногих”.

Сама природа киноискусства, утверждал Кожин, противоречит изготовлению фильмов “для немногих”. “Когда человек смотрит фильм в одиночку (по тому же телевидению), он скорее знакомится с ним или анализирует его, но не воспринимает до конца, не живёт им, ибо жить им можно только “совместно” со многими людьми... Любый кинофильм, безусловно, адресован всему населению страны. В силу самого характера бытия кино в нарушении данного “правила” предстаёт как отступление от коренных законов этого искусства. Если кинофильм не может быть пережит всеми совместно, он становится каким-то отщепенцем”.

Зрелищность кинофильма, настаивал Кожин, неотделима от динамичности происходящего на экране, простоты в развёртывании действия (которая, разумеется, не тождественна упрощённости смысла), праздничности атмосферы, которая “выражается в интенсивной, открытой жизни (так всякая подлинная трагедия – празднична)... В этом контексте естественным было сопоставление современного кинематографа и античной трагедии, также обращённой ко всем.

“Думается, – писал Кожин, – что все те фильмы, которые заслуживают титула киноклассики, в полной мере обладают этими свойствами. Это относится не только к эпопеям Довженко или трагедиям Бергмана, но и к гротескной лирике “Атланты” Виго, к лучшим кинороманам Рене Клера и итальянских неореалистов...”

Здесь внимательные читатели могли узреть посыл, прямо направленный против Виктора Некрасова, незадолго до того опубликовавшего в “Искусстве кино” статью, сопоставляющую “Землю” Довженко и “Иваново детство” Тарковского, утверждая явные преимущества последнего фильма.

“В то же время столь прославленные многими “профессионалами” ленты, подобные “Гневному оку”, “Прошлым летом в Мариенбаде” или даже (ох, не поздоровится мне!) “Виридиане”, – продолжал Кожин, – фильмы, которые, разумеется, по-своему значительны, интересны и ценны (хотя бы с экспериментальной точки зрения), едва ли всецело принадлежат к искусству кино в подлинном значении этого слова...”

Я утверждаю, что произведения киноискусства, не имеющие настоящего “массового”, общенационального успеха, являются несостоявшимися. И пусть не говорят в этом случае о неподготовленности зрителей... Нелегко поверить, что нынешние зрители вообще стоят значительно ниже по развитию, чем всё население древних Афин, вполне понимавшее театр Эсхила и Аристофана. Я знаю, как переживаются в наших кинотеатрах “Пепел и алмаз”, “Ночи Кабирии”, “Живёт такой парень...”

И потому я полагаю, что многие высоко оценённые критикой фильмы – в том числе такие, как “Иваново детство” и “Мне двадцать лет...” (изменённое название фильма Марлена Хуциева “Застава Ильича”. – С. К.) – в той или иной степени не состоялись как произведения киноискусства...”

В справедливости слов Кожина мне самому пришлось убеждаться не единожды. “Мне двадцать лет” я досмотрел в кинотеатре с большим трудом, временами преодолевая состояние чудовищной скуки. Буквально заставил себя досмотреть до конца прославленного “Андрея Рублёва” Тарковского, не сдерживая своего недоумения на последних кадрах, когда в цвете стали демонстрироваться древнерусские иконы: “Какое отношение имеет это чудо

к современному неврастенику под именем Рублёва, два с лишним часа вынимавшего душу на экране?!” (И уже много позже с чувством радости от совпадения прочитал у Кожина: “... В непомерно превозносимом множестве критиков кинофильме А. Тарковского “Андрей Рублёв” (по моему убеждению, посредственном и, в частности, невыносимо скучном) творчество гениального иконописца никак не соотносено с русской жизнью его времени — даже напротив”)... На моих глазах зрители уходили из зала с “Репетиции оркестра” Феллини (притом, что когда в “Иллюзионе” демонстрировались его “Ночи Кабирии” или “Дорога”, переполненный зал боялся вздохнуть). Также зал пустел наполовину (если не больше), когда на какой-нибудь из московских окраин демонстрировался фильм Тарковского “Зеркало”. Кожин однажды пошёл на просмотр этого фильма и вышел из кинотеатра в состоянии полного неприятия того, что видел и слышал. Особенно его привели в раздражение стихи Арсения Тарковского, служившие звуковым фоном к фильму... Но это уже события последующих лет...

В описываемое же время Кожин вдохновенно работал, писал статью за статьёй (кроме теоретических работ в отделе теории ИМЛИ), постоянно выступал на заседаниях “Русского клуба”.

Выступления многих его участников отличались нешуточной остротой. Святослав Котенко, заведующий отделом критики “Молодой гвардии”, регулярно анализировавший в журнале передачи Центрального телевидения, буквально уничтожал расхваленный во всех газетах и журналах кинофильм Евгения Габриловича и Юлия Райзмана “Коммунист”, где главную роль вдохновенно играл Евгений Урбанский: “В этой картине коммунист реквизирует жену у русского крестьянина!” А по логике авторов (полностью поддерживаемой зрительным залом) только так и следовало поступать с “кулаком” и “накопителем”... Марк Любомудров свой доклад о русском театре начинал со слов: “Русского театра больше нет. Его убили”. А потом рассказывал историю русской сцены, начиная с Фёдора Волкова, приводя такие примеры, что становилось ясно: после Станиславского и Немировича-Данченко, отстоявших Московский художественный театр от всех напастей (и, в частности, от атак Мейерхольда, призывавшего после революции “повесить замок” на двери всех театров), русская режиссура практически сошла на “нет”, и ни расхваленные, ни разруганные “Современник” и “Таганка” (самые популярные тогда в Москве театры), ни “Ленком” или Театр на Малой Бронной не имеют к русской режиссёрской традиции никакого отношения.

Кожин же считал, что малоизвестные или практически забытые (а также периодически извлекаемые) страницы истории отечественной культуры XIX века имеют не меньшее значение для современности. Он читал лекции по творческому наследию славянофилов.

“Вадим Кожин, — вспоминал Дмитрий Анатольевич Жуков, — привлекал на вечера своих подопечных поэтов, делал доклады... настаивал на создании специальной молодёжной комиссии”.

И тот же Жуков описывал свои дружеские посиделки с Кожинным в это же время в обществе весьма интересных исторических персонажей.

“...Кожин в ту пору был весел, остроумен, торопит на новые творческие идеи и не чурался зелёного змия. Самое большое удовольствие мы получали, когда он, подыгрывая себе на гитаре, начинал петь русские романсы. Знал он их феноменально много и, бывало, сперва скажет, чьи слова, музыка, в каком году впервые исполнялось, а потом запоёт голосом несильным, но выразительным. Заслушаешься!

Помнится, были мы с ним на даче в Переделкине у одной пожилой дамы, Галины Серебряковой, писавшей увесистые романы из жизни Маркса и Энгельса. В своё время она сидела в лагере по каким-то идеологическим причинам, а вернулась, как и многие, в Москву по воле Хрущёва. Её муж был почитателем песнопений Вадима под водку. В тот раз, прикончив бутылку, Вадим замолк, отложил гитару и сказал, что продолжит только в том случае, если молодой супруг Серебряковой сбегает в магазин ещё за одной, что тот дисциплинированно исполнил”.

Не знаю, о каком “молодом супруге” идёт речь. Дочь Галины Серебряковой вспоминала, что последние годы её мать провела в одиночестве. Возможно, речь идёт о каком-либо из молодых поклонников, по случаю оказавшемся тогда на переделкинской даче.

Кожин и Серебрякова были соседями по Переделкину, и Вадим Валерианович не упускал случая зайти к известной писательнице и не менее известной “зечке”, отсидевшей два срока. И если к её книгам о Марксе и Энгельсе он отнёсся весьма равнодушно, то достаточно высоко оценил два мемуарных сборника — “О других и о себе” и “Странствия по минувшим годам”, тем более что она рассказывала ему ещё о многом, что не вошло в печатный текст. С большим интересом слушал её тюремно-лагерную “эпопею”, лёгшую в основу книги “Смерч”, которая без ведома автора была опубликована в охваченной волнениями Польше, после чего Серебряковой пришлось выступить с протестом против этой публикации. Общение проходило не без взаимных трений: Серебрякова благоговела перед Лениным и ненавидела Сталина, а Кожин к этому времени начал обретать более спокойный и устойчивый взгляд на отечественную историю и её творцов. Но ни о какой “объективности” ни Галина Иосифовна, ни её дочь слышать не хотели. Вадим Валерианович даже нарвался на реплику Серебряковой-младшей:

— Вы обеляете Сталина, а моя мама сидела при нём!

Не было смысла ничего здесь уточнять, но дочь писательницы в эту минуту лишилась хладнокровия. Конечно, Кожин никого не думал “обелять”. Кроме того, он знал немалосущественные подробности “сидения” своей собеседницы. Позднее он рассказывал, что авторша книг о Марксе и Энгельсе была одной из приближённых начальника лагеря и исполняла роль надсмотрщицы — ездила на белом коне и била кнутом заключённых.

* * *

А идеологическая борьба тем временем накалялась с каждым днём.

При всём том, что можно было ожидать во внутренней жизни государства всё большего ужесточения в идеологии, “Молодая гвардия” продолжала гнуть свою линию. В 9 номере за 1968 год появилась статья Виктора Чалмаева “Неизбежность” с эпиграфом из Некрасова “Ну, трогай, Саврасушка, трогай! Натягивай крепче гужи!”, тезисы которой он “обкатывал” на заседаниях “Русского клуба”. Вот эта статья как раз и явилась впрямую не обозначенным ответом “Заклинанию духов” Владимира Воронова и его обвинениям в “русопетстве”.

“И во времена Пушкина и Гёте истинная поэзия была окружена превосходящим её численно потоком заурядной, “неизящной” словесности. Но газетно-журнальный бум XX века с его коммерческим или утилитарно-практическим, стяжательским отношением к печатному слову внезапно сделал эту “пропорцию” катастрофической. Словно вышла из берегов какая-то мутная река, хлынули слова “с подолом уличным”, и последние рассказы Чехова, статьи и рассказы Толстого, стихи Блока стали сущими островками незагрязнённого, одухотворённого Слова.

Не газеты сами по себе пугали художников, а торжество газетчины, поверхностного вкуса, биржевой гул, звучащий отчётливо со страниц буржуазных газет. Люди отучались слышать голоса народной жизни. Чаще всего это мозаичное зеркало “информации”, это удешевлённое, “демократичное” якобы, общедоступное слово именно скрывало очертания жизни, подлинной культуры...”

Далее следовала цитата из неназванного Василия Розанова, из его “Сумерек просвещения”: “Море слов, передвигаемых с места на место, для всякого готовых, всякому доступных, поглощает всякий живой факт... как пыль на краю... леса поднялся на окраине двухтысячелетней европейской культуры лёгкий рой бумажных листков, который закрыл его...”

Это было лишь вступлением к статье, вступлением, впрочем, достаточно резким, учитывая то умилённое (если не коленопреклонённое) отношение к Серебряному веку, которое широко распространялось в писательских (и не только) кругах. Но дальше от “газетчины” начала века шёл прямой переход к современности.

“Варварство в целлофановой обёртке, в “модерной” суперобложке, рекламируемое нередко и “голубым экраном”, и магнитофонной лентой... Вот что засыпает истинные ценности песком забвения более основательно, чем песок пустыни, скрывший (но и сохранивший для нас!) бессмертный портрет Нефертити...”

И какой диктат у этого варварства! Оно превращает незрелых людей в истинных роботов, заполняет их сознание своей “идеологией” механически, и такой робот, как нечто сокровенное, “выстраданное”, повторяет заданную программу...

Затем следовал раздел, озаглавленный “История при свете совести”, что уже повергало многих в состояние лёгкого шока, ибо давным-давно отечественную историю при этом свете разглядывать было не принято.

Герои этого раздела – хорват Юрий Крижанич, которого “одним из множества ветров, обдувающих Россию с Востока и Запада”, занесло сначала в Москву, потом в Тобольск и который “обнаружил одну беду, которой страдает эта могучая земля. “Чужебесие” – бешеное пристрастие ко всему чужеземному, как толкует это слово сам автор”; Всеволод Никанорович Иванов, в своё время руководитель колчаковской “Нашей газеты”, бывший эмигрант, вернувшийся на Родину в 1945-м из Харбина (и, кстати, репрессиям не подвергшийся), автор романа “Чёрные люди”; многолетний сиделец Алексей Черкасов, автор романа “Хмель”; Дмитрий Балашов, только-только выступивший в “Молодой гвардии” со своим первым историческим романом.

“... А кто знает, какие сложные думы жили в сердцах и удалых головушках тех казаков – беглецов, “утеклецов”, что шли вместе с Ермаком, Хабаровым, Дежнёвым через дёбри сибирской тайги, чтобы Россия, неласковая к ним, каторгой грозящая, вдохнула полной грудью родственной её душе простор Великого океана? А кельи пустынножителей-патриотов вроде Сергия Радонежского, вдохновившего Дмитрия Донского на решительный бой, вроде патриота-патриарха Гермогена, в Смутное время рассылавшего в разные концы земли письма-мольбы о единстве? Нет, не пустынна наша священная история, пожалуй, только не “обжита” по-настоящему”.

Истово, в сказовом ритме “обживал” её Чалмаев в своей статье, где оживаемо кстати поминался неистовый протопоп Аввакум (сначала со ссылкой на романы Вс. Иванова и А Черкасова, потом уже – на него самого), – совершенно не в тоне и духе “исторического материализма”.

“Не Запад сам по себе ужасал Аввакума, не косность патриархальщины влекла его, как и позднее Льва Толстого в бунте против буржуазной цивилизации, а превращение временных и явно несовершенных форм, идей в абсолют, идеал, в единственную площадочку для развития России. Да и крепостничество, и капитализм – это же щепка в океане, на которой не уместится тысячелетняя народная обновляющаяся Русь!”

... В это время на экраны страны выходил ещё один художественный кинофильм о “белой гвардии” – “Бег” по мотивам произведений Михаила Булгакова, снятый А. Аловым и В. Наумовым (в основе сценария лежала одноимённая пьеса). Одна из самых запоминающихся сцен фильма – монолог бывшего генерала Чарноты в потрясающем исполнении Михаила Ульянова под мостом среди парижских клошаров:

– Всё можно купить... Но только не Родину. Особенно такую, как моя... Россия не вмещается в шляпу, господа нищие! Не вмещается!

Эти слова по своему смыслу и напряжению родственны знаменитым словам таможенника Верещагина – “Я мзду не беру. Мне за державу обидно...” – из фильма “Белое солнце пустыни” (который на исходе “перестройки” будет охарактеризован, как “лихой отечественный вестерн с его наивным имперским шовинизмом”)... Это “не вмещается” имело прямое отношение как к капиталистической “шляпе”, так и к марксистско-ленинской. И явно перекликалось с только что вышедшей чалмаевской статьёй.

Волей-неволей вставал вопрос: а нынешняя стадия “развитого социализма” – тоже “щепка в океане”? Тут же, как молния разрезает тучи, разрезает стилизованный сказовый чалмаевский текст цитата из Аввакума: “Видели мы – выпросил у Бога светлую Россию сатана, чтобы обогреть её кровью мученической, а то и знаем, что из муки – наука. Учимся мы, страдая! Учимся!”

И далее, следующая часть статьи под заголовком “Потребности” толпы и идеалы народа” воссоздаёт во всём современном контексте ситуацию, в которой уже наши современники “учатся”, на своей “муке”.

“А вы что же думали – что при социализме люди будут стоять у корыта изобилия и хрюкать от удовольствия?” – цитирует Чалмаев Ленина, говорившего о социализме как о “величайшей мечте человечества”. И тут же рядом – цитата из Константина Леонтьева, который “возмущался... торжеством толпы

над народом”. Так есть у нас ныне социализм или нет? Или ныне – торжество толпы, припавшей к корыту? Чалмаев не даёт прямого ответа – да он и не нужен. Всем строю своего сочинения он говорит: не реализовалась эта мечта. А настоящую муку-мученическую претерпела русская деревня, находящаяся ныне на последнем издыхании.

“Споры о народности, патриотизме, о месте деревенской прозы в нашей критике, – подводил промежуточный итог Чалмаев, – это, безусловно, косвенное отражение всемирного процесса борьбы вокруг понятий “толпа”, “публика”, “народ”, вокруг проблемы разумного сочетания “потребностей” и “идеалов”. И не умея или не стремясь найти действительно верный ответ на эти вопросы, некоторые критики обращаются к испытанному “методу”.

Да что там вздыхать о деревне! О долге перед ней за прошлые годы! Выстроим крестьянам новые дома с шиферными крышами, с городской мебелью, с санузлами, модными сараями! Вот и весь долг за прошлые “перебои”! – так примерно рассуждают некоторые, протестуя во имя “прогресса” против “идеализации” мужика, против воспевания родников, истоков. Точно так же они рассуждают и об участии Байкала, русских лесов: “Да дайте нам похозяйничать ещё лет двадцать, мы вам новый Байкал выроем, лучше прежнего, где угодно – и весь долг!”...

И кажутся просто несмышлёными мистиками все, кто избегал “бухгалтерии”, логики коммерсанта во взаимоотношениях с народом, перенося весь вопрос в область сердца, нравственных терзанийё любя народ “странной любовью”... Деревенский люд, надо сознаться, принимает этот язык рубля, бухгалтерии: уж очень небрежно, неразумно в иные годы пожинали плоды его былого бескорыстия...

Эти “бухгалтера” то временами угрожают, ссылаясь на доводы науки, что деревни-то вообще не будет к 2000 году (далеко смотрели! И всё для этого делали... – С. К.), то вдруг начинают упрекать всех поклонников природы, рек, земли в отрыве от народа” – вот, мол, вы вздыхаете обо всём этом, а народ рвётся к телевизору и санузлу, коньячку, модной песенке “туристского толка” и к “небрежной современной манере” в культуре (перепутать толпу с народом – это всегда был любимый приём “бухгалтеров. – С. К.)... И подумает иной певец “звезды полей”: и “онученосец” я, и “антинародный” идеалист к тому же...”

Но... “подлинная цивилизация невозможна без цивилизации души, без всемерного развития чувства родины, социалистического гуманизма, высоких духовных потребностей.

Каждый народ хочет быть не только сытым, но и вечным”.

Статья Чалмаева наравне со статьёй Лобанова “Просвещённое мещанство” стала программной для “Молодой гвардии” в конце 1960-х. К сожалению, временами критика, что называется, “несло”. И очень жаль, что рядом с ним тогда не оказалось внимательного редактора. Не появилось бы в тексте статьи не имеющее отношения к реальности утверждение о Константине Леонтьеве как о “друге Л. Н. Толстого”, да ещё и как о “Чаадаеве 60–80-х годов”. В крайне современном разговоре о забытом (расстрелянном в 1937 году) писателе Иване Макарове были бы правильно названы его произведения (“Миша Курбатов” вместо “Миши Курдова” и “Стальные рёбра” вместо “Стальные ребята”). Впрочем, Чалмаев и раньше не слишком внимательно вычитывал написанное: в статье “Великие искания” строчки из стихотворения Блока приписал Бунину, а Нила Сорского назвал “Нилом Саровским”.

Кожин, позвонивший Чалмаеву сразу по прочтении статьи, поздравил его с удачей и радостно удивился, как беспрепятственно прошла в тексте цитата из Леонтьева с обозначением фамилии автора; он не сдерживал своей горечи при виде этих очевидных “ляпов”, на которых потом вволю “оттанцуются” литературные “бухгалтеры”. Да мало ли кто каких фактических ошибок по незнанию или по “замыливанью глаза” не совершал в своих писаниях?! Не из-за них на статью “Неизбежность”, как и на “Просвещённое мещанство”, набросились, словно стая псов, спущенных с цепи, свора присяжных литературных критиков.

В течение всего последующего года Ю. Суровцев (“Придуманная неизбежность”), Ф. Чапчахов (“Защита истоков” или проповедь надклассовости?), В. Борщук (“В защиту историзма”), Г. Бровман (“Открытие нового или повторение пройденного”), Л. Крячко (“Соблазны “технизма” и духовность”),

И. Мотяшов (“Ответственность художника”), В. Ковский (“Об интеллектуализме, мещанстве и чувстве времени”), Н. Семинихин (“О “национальной гордости” и “православных святцах”) в “Литературной газете”, “Литературной России”, “Вопросах литературы” и даже в “Науке и религии” буквально воем выли над страницами “Молодой гвардии”.

“Странные, путаные суждения о творчестве Горького мы встречаем в статье В. Чалмаева “Великие искания”... С умилением пишет критик о “босьяках”, “золоторотцах”, всякого рода “философах” и “мудрецах” вроде Луки, Тихона Вялого и им подобных, которые якобы воплощали в себе лучшие черты народного характера... А ведь Горький утверждал в своих произведениях, как известно (кому?! – С. К.), революционные взгляды на жизнь, концепцию активного, борющегося человека, мечту о новой социалистической России...”

Суть была понятна: вы что, против новой, социалистической России?!

“Народ – великое понятие, и попытка уложить его в прокустово ложе каковой бы то ни было схемы ведёт к искажению исторической правды. Так именно и случилось в статье В. Чалмаева... Успешно способствовать развитию народности литературы и искусства возможно лишь с помощью единственного верного оружия – научной марксистско-ленинской методологии”.

“Толковать о национальном чувстве как самостоятельным факторе, – писал В. И. Ленин, – значит только замазывать сущность дела”. Наш же критик постоянно, с экстазом, чуть ли не молитвенно твердит о “святынях национальной души”...”

На Ленина, значит, покусились?! Или решили его вообще проигнорировать?

“В. Чалмаев заходит в далёкую даль, когда слагает переворачивающие всё вверх дном гимны страданиям раскольников: они, мол, не хотели “ответчать на жестокость жестокостью, ибо это, как они понимали, вредило бы в итоге Отечеству...” Я бы не удивился, если бы В. Чалмаев такие фигуры преподнёс нам в ключе “сыновьего” непротивленства...”

Но разнести “по кочкам” мало. Нужен неумолимый обобщающий вывод, призывающий, как минимум, к административным мерам.

“Остаётся задать ещё один вопрос: насколько неизбежным было появление статьи, проповедующей асоциальные взгляды на русскую историю и на некоторые современные заботы нашей жизни в журнале “Молодая гвардия”? Или и впрямь работники журнала убеждены в том, что Никон и раскольники, всенощный колокольный звон и бессловесная лошадушка “Саврасушка” могут подлинно патриотическому коммунистическому воспитанию молодёжи?”

Этот “камушек” от Юрия Суровцева летел рикошетом и в заместителя Никонова Валерия Ганичева, незадолго до того опубликовавшего в “Молодой гвардии” статью “Наследники народной культуры”, где “органической частью ленинского плана строительства нового общества” объявлялось бережное отношение к наследию прошлого: “Комсомол, молодёжь недвусмысленно заявляют о своей позиции, когда берут на себя заботу о величайшем памятнике русской старины, диве-дивном на озере Неро, Ростове Великом, заботливо возрождая седой кремль, возвращая к жизни величественные храмы и громкозвучные колокола”. Другими словами, нынешние комсомольцы – это буквальные антагонисты комсомольцам 20-х годов, членам “Союза воинствующих безбожников”, разрушителям и участникам “штурма небес”. Противопоставление, не сформулированное явно, бросалось в глаза и приводило и Суровцева, и иже с ним в состояние яростного экстаза.

Как посмели?! Где классовый подход? А где учение Ленина о “двух культурах”? Что это за “идеализация патриархальной косности”? Что это за Христос, у Чалмаева “отряхивающий ризы” над русским полем? Это что, проповедь религии? Чалмаев что, против улучшения условий жизни колхозников? Он что, противится новым веяниям в политике партии? А Лобанов в самом деле полагает, что в нерушимо едином социалистическом обществе существуют некие “короеды”, его подтачивающие?! И вообще, не пахнет ли здесь национализмом, русским шовинизмом?

Но чем больше истерили литературно-критические “марксисты-ленинцы”, тем больше неуверенности ощущалось в их писаниях. Вроде бы весь лексикон брался из прессы столь любимых 1920-х годов, но ни прежней энергии, ни прежней ненависти не ощущалось. Точнее, ненависть была, но её накал как-то... приглож с тех пор, что ли?

Куда энергичнее выступали авторы “Октября”. Кочетов вообще не церемонился ни с “новомировцами”, ни с “молодогвардейцами”. Владимиру Максимова (очевидно, заподозрив того в сочувствии к последним) он так прямо и заявил:

— Со следующего номера ты член редколлегии, партия умеет ценить по-рив... Говорят, славянофильством увлекаешься? Выброси эту дурь из головы, это вас, легковерных, дуболом Никонов мутит, у самого идеологическая каша в башке и других с толку сбивает. Мы ему на днях накрутим хвоста, чтоб неповадно было, долго помнить будет... Ладно, иди...

“Крутить хвоста” Никонову Кочетов начал ещё год назад, когда “Октябрь” выступил со статьёй некоего В. Ханжина, направленной против статьи Лобанова “Внутренний и внешний человек” — сама мысль о прямом уничижительном сопоставлении героев повестей “Октября” и “Нового мира”, которое “позволил себе” Лобанов, была, конечно, нестерпимой.

Среди “сбитых с толку” Никоновым Кочетов числил и своего собственного автора Владислава Шошина, который в статье “Заре навстречу”, опубликованной, очевидно, по недосмотру главного редактора, положительно оценил и чалмаевскую, и лобановскую статьи (кстати сказать, свои стихи, по которым потом будут открыты “автоматные очереди”, он печатал в “Молодой гвардии”). Спыхватившись, Кочетов распорядился “палить” из всех “стволов”. В 12-м номере за 1968 год появилась статья штатного “октябрьского” критика Петра Строкова под разящим заголовком: “О народе—Саврасушке”, о “загадках” русского характера и исканиях “при свете совести”.

Это был достаточно известный боец за классовую чистоту на литературной ниве. Немногим ранее он в огромной статье “Земля и люди”, опубликованной в “Огоньке” Анатолия Софронова (которого наши либералы по сей день не устают причислять к “русской партии”), “отвечая” на письмо первого секретаря Верховского райкома КПСС Орловской области А. Блынского, недоумевающего, как это “многие литераторы, пишущие о деревне, почему-то основное внимание уделяют только изображению послевоенных трудностей, только теневых сторон жизни и быта советской деревни”, — буквально разносил “Две зимы и три лета” Фёдора Абрамова, “Из жизни Фёдора Кузькина” Бориса Можаева, “Пиво на дорогу” Юрия Галкина, “Кончину” Владимира Тендрякова, мимоходом отвешивая затрещину рассказу “В профиль и анфас” Василия Шукшина и “Привычному делу” Василия Белова. “По страницам иных рассказов и повестей ныне шествует некий лирический герой, ищущий путей приобщения к “вечным источникам” духовной красоты и мудрости. Но обретает их почему-то в облике разных “правдоискателей”, “страстотерпцев” и “великомучениц”, напоминающих небезызвестную солженицынскую Матрёну, на коей якобы держится и село, и город, и государство наше... Возникает вопрос: почему же лирическая литература о деревне далека от острых социальных проблем наших дней, почему она тяготеет к прошлому, к элегически-сентиментальным вздохам о старой деревне, к абстрактному, внеисторическому решению нравственных проблем?..”

Но то, как разрешал “острые социальные проблемы наших дней” Чалмаев, Строкова не устроило ещё больше: “История при свете совести” — так называется одна из центральных глав статьи “Неизбежность”... Но чья совесть призвана освещать: совесть большевика-ленинца или, скажем, какого-нибудь мятущегося интеллигентика, совесть которого мигает, как пламя свечи на сквозняке, и того гляди погаснет?... Образ покорного коняги принимает у В. Чалмаева обобщающее значение: “Саврасушка” — это русский народ, который-де не только в прошлом, но и в настоящем выступает не творцом истории, не хозяином своей судьбы, а великомучеником и страстотерпцем, призванным покорно влечать свой “воз” по исторической колее — и так до самого коммунизма... Что и говорить, безрадостная картина прогресса и движения нашего народа к осуществлению своих идеалов!.. Эта любовь к “родному и близкому” коняге — аж “до боли сердечной” — перенесена, конечно, “в область нравственных терзаний”... Мы с пониманием относимся к такой болезненно-странной любви, **но всё же предпочитаем, чтобы у нашей молодёжи воспитывалась не сострадательная, терзающая душу и сердце любовь к народу** (выделено мной. — С. К.), а любовь деятельная, вдохновляющая миллионы юношей и девушек на мужественную борьбу за счастье и процветание нашей великой Родины...”

Было, конечно, чрезвычайно забавно читать тогда (а сейчас это ещё забавнее!) рассуждения о том, что “идеологи русской партии” якобы “страдания русского народа, его нищету, его убогий быт, его рабство, его тяжкий труд на земле, чаще всего безвозмездный, они считали тем, без чего якобы невозможна русская духовность”. Я думаю, подобную карикатуру, наляпанную (здесь это самое точное слово!) пером Александра Ципко, постеснялся бы публиковать даже советский журнал “Крокодил”. Дальше – пуще. “С точки зрения идеологов “Русской партии”, как писал Виктор Чалмаев, “негласный нравственный кодекс” русского крестьянина состоит в том, чтобы всю жизнь быть привязанным к земле, к колхозному с трою, к тяжёлому труду, за который он мало что получает... Для них (“идеологов русской партии”. – С. К.) не может быть русскости без нищеты!” Тут, пожалуй, самое время ткнуть нашего философа носом хотя бы в это место чалмаевской статьи: “Сейчас нередко наблюдается своеобразный разрыв между социальным и национальным. ... Мы имеем целый поток стихотворных произведений, где без конца повторяется слово “Русь”, “Россия”, идут картины вневременного, внесоциального, какого-то идеализированного деревенского “оазиса”, царства фатальной тишины. В этом плане особенно поучителен последний сборник Цыбина “Ау”, в котором поэт нередко даже трухлявую стену избы ставит выше всего “городского”. Это поза, а не позиция защитника национальных устоев, объективно очень вредящая осознанию Советской Родины (Владимир Цыбин не забыл и не простили этой чалмаевской реплики, в чём мы ещё удостоверимся. – С. К.). Порой исключительными и единственными носителями всего национального становятся только такие герои, которые, подобно древним пустынножителям, уходят от всего общественного...” (мировоззрение этих “героев” будет потом приписано самому Чалмаеву. Передёргивать – так передёргивать).

Ещё забавнее – обвинение в “русском национализме” автора, привлекающего для своего социального анализа произведения Иона Друцэ, Михаса Стрельцова, Гранта Матевосяна, Юстинаса Марцинкявичюса, “автора прекрасной поэмы “Кровь и пепел”...

... Но было бы несправедливо делать вид, что весь этот гвалт остался без ответа.

В начале 1969 года в “Молодой гвардии” выступил Анатолий Ланщиков с полемическими заметками “Осторожно – концепция!” В них он точно и не без едкости охарактеризовал тогдашний стиль литературной полемики (пройдут какие-то 20 лет – и он покажется почти академическим!): “Поговорил, скажем, критик А. о том, что по каким-то причинам не устраивает критика Б., смотришь, последний “воздвигает” какую-нибудь фантастическую концепцию и, пользуясь первым же случаем, приписывает её своему литературному противнику. Затем критик Б. принимает патриотическую осанку и начинает громить критика А., и притом не столько как критика, сколько как человека. И тут уже сложилась своя модель. Сначала щедро выдаются “комплименты”, порой граничащие с прямыми оскорблениями. Второе условие – наличие в обвинениях “политических полунамёков”. В-третьих, критику А. подыскивается “реакционный предшественник”, а потом, естественно, следуют соответствующие “выводы”. Подобная статья должна вызвать у читателя невольное предчувствие административного вмешательства в дела литературные. Конечно, потом этого вмешательства может и не быть, скорее всего, и не будет, но ощущение, что оно “может быть”, должно возникнуть”.

Оговорки насчёт того, что “вмешательства может и не быть, скорее всего, и не будет”, делались Ланщиковым, скорее всего, для страховки, чтобы по возможности упредить вероятную неадекватную административную реакцию. Тем более что дальше он буквально “раздевал” Юрия Суровцева с его “Придуманной неизбежностью”:

“Сколь велико у Суровцева желание быть проповедником, столь же велико у него желание не быть праведником: когда он бросается спасать от Чалмаева “газетчину”, то как-то слишком уж поспешно забывает о своей “проповеди” и “отрезает” с такой поспешностью, которая никак не способствует неторопливости мышления...” “Какая витийствующая односторонность! – цитировал Ланщиков Суровцева, пережившего приступ негодования от слов Чалмаева о “коммерческом газетно-журнальном буме”. – **Ведь это говорится о периоде подготовки и проведения русской революции 1905 года**” (подчёркнуто Суровцевым. – А. Л.)...

Но всего этого Суровцеву показалось мало, и он продолжает: “Вдумайтесь только: измельчали “культурные ценности” в нашей стране **в те годы, когда складывалась первая революционная ситуация** (подчёркнуто Суровцевым. — **А. Л.**).

В представлении Суровцева революция — это нечто вроде всенародного карнавала, общегосударственного праздника по случаю великих достижений в области материальной и духовной жизни, демонстрация гармонии общества. Но он как-то забывает, что революционные ситуации как раз и создаются в те периоды, когда в обществе неблагополучно, когда государственный организм переживает всесторонний кризис...” На обвинение Суровцева, что Чалмаев “сделал... из Бунина певца единой России!..” Ланщиков напомнил, что речь идёт об одном из самых поэтичных бунинских рассказов “Косцы”: “В том-то всё и дело, что народное творчество (в данном случае и песня, и её исполнение) всегда объединяет людей в каком-то хорошем добром чувстве, но Ю. Суровцев делает вид, что он ничего этого не понимает и якобы только экономии места ради делает столь “произвольные” усечения текста статьи своего оппонента...”

“Я не шучу (это мы понимаем. — **А. Л.**) и не преувеличиваю, — предупреждает нас Суровцев, — современный советский критик в 1968 году стремится доказать великое государственное и даже народное значение раскола и никонианства”. Если убрать отсюда излишний пафос, идущий от субъективного восприятия Суровцевым статьи Чалмаева, то никакого криминала не остаётся. Действительно, неужели комсомольский журнал только потому, что он комсомольский, должен отечественную историю преподносить на манер студенческого капустника?”

Суровцев на протяжении всей своей “громоподобной” статьи подставился множество раз (как он подставлялся и до этого, и многожды потом), чем Ланщиков воспользовался практически безукоризненно. Но на этом не остановился, отметив явные просчёты у самого Чалмаева:

“Спрашивается, оправданно ли цитирует критик в своей статье К. Леонтьева? По-моему, так, как он это делает, нет. И дело тут не только в фигуре самого К. Леонтьева, а в том, что имя его ничего не говорит молодёжному читателю, который, прочитав чалмаевскую “Неизбежность”, наверняка составит о нём ошибочное мнение. Тут необходимо было внятно сказать о религиозно-философской позиции К. Леонтьева и никак уж не зачислять его в друзья Льва Толстого, потому как последнее противоречит исторической истине... Дружба между крупными личностями своего времени определяется не совместными ночёвками и “прекрасными беседами”, а чем-то более значимым. Л. Толстой и К. Леонтьев не могли быть друзьями, так как для первого в религии главным была — “любовь”, а для второго — “страх”...”

Если же говорить о глубине социального анализа, то и здесь даёт себя знать несовершенство методологии Чалмаева. Что касается той части статьи, в которой ведётся критика эпохи капитализма в России и современного и империализма, то тут у Чалмаева ощущается достаточно чёткое понимание социального вопроса... Здесь внесоциальность его оценок можно доказать только при помощи заведомых передержек. Но вот что касается времён более отдалённых, например, времён раскола и никонианства, тут действительно социальная почва уходит из-под ног... Это издержки метода, но никак не признак дурных намерений В. Чалмаева. Говорить же, что он проповедует “асоциальные” взгляды на русскую историю и на некоторые современные заботы нашей жизни — значит, приписывать ему “концепцию”, к которой он никогда не имел никакого отношения”.

И далее с той же основательностью, вдумчивостью, тщательностью анализа Ланщиков разбирал “октябрьскую” статью Дмитрия Старикова “Заметки для памяти”, по сути, защищая от него “новомировскую” статью Игоря Золотусского “Добавление к эпосу”, посвящённую выходу на экраны четырёхсерийного фильма Сергея Бондарчука “Война и мир”.

Думаю, следует сказать, что тот же Дмитрий Стариков годом ранее напечатал в “Октябре” статью Ланщикова “Исповедальная” проза и её герой”, ставшую своего рода литературно-критической “бомбой”, ибо так въедливо и аргументированно прозу Василия Аксёнова и Анатолия Гладилина (как и критические статьи их “болельщиков”) не разбирал до тех пор никто.

В этой статье Ланщиков стёр в порошок ходячий тогда термин “четвёртое поколение”, показав, что из этого поколения 1930–1935 (ориентировочно) годов рождения выходили люди с самыми разными, подчас диаметрально противоположными судьбами, и герои “исповедальных” повестей и рассказов, несколько лет назад бывшие в большой моде, не могут ни по каким характеристикам претендовать на его представительство. Что к появлению этих “героев” никакого отношения не имел пресловутый “1956 год”, ибо появились они тремя годами ранее. Что неумение этих героев мыслить (в чём сходились многие критики) опять же нельзя распространять на всё поколение. Что эти самые персонажи постоянно “выдают себя за страшных новаторов, самоуверенно принимают самые неестественные позы с небескорыстной целью ошеломить всех новизной и оригинальностью”, что они своими повадками напоминают чеховского Ионыча, но “теперешние Ионычи, усвоившие с чужих слов модные убеждения, необычайно агрессивны и деятельны на ниве удовлетворения своих потребительских запросов”. И что, наконец, сами авторы имеют чрезвычайно приблизительное представление о природе писательского мастерства, предпочитая усваивать чужеродные приёмы, но даже их не в состоянии усвоить – о чём писал ещё Кожин. “Беда вовсе не в том, – подчёркивал Ланщиков, – что кто-то учился у Хемингуэя или Фолкнера, беда в том, что кто-то, не обременяя себя серьёзной учёбой у больших западных мастеров, сел на их духовное иждивение”. Кожин же вообще считал, что “исповедальщики” “учились”, по сути, у Кашкина, Волжиной, Холмской и других переводчиков американской литературы.

Номер журнала со статьёй “Исповедальная” проза и её герой” пошёл по рукам. На Ланщикова стали смотреть с опаской и затаённым интересом. Дмитрий Урнов вспоминает забавную и в то же время характерную сцену того времени: “Вскоре после появления Толиной статьи я впервые увидел его на заседании в Доме литераторов. Мы ещё не были знакомы, я не знал, как выглядит автор, никого не оставляющий равнодушным. Сидели в круговую, и прямо напротив нельзя было не заметить лица, отличавшегося скульптурной монументальностью. “Это кто же такой внушительный?” – произнёс мой внутренний голос. Вдруг над ухом у меня, словно угадывая вопрос, раздалось едва слышное с интонацией испуга: “Лан-щик-ов”. Толя, когда мы познакомились, мне сказал, что статья, как видно, вовремя попала в поток полемических публикаций, а он пошёл против потока. . .

В традициях классической русской критики Ланщиков рассмотрел, что же сказывается в чистосердечных признаниях молодых протестантов, бросивших пронзительный призыв отряхнуть с наших ног прах директивной ортодоксии. Мальчишки-то, если вчитаться, посредственны, поверхностны, просто брешут, не замечая, как они выбалтывают о себе лишнее. Неплохо устроившиеся блудные выкормыши советской власти для себя желают воли, горизонт их ограничен обывательским эгоцентризмом. Надо было в самом деле дышать общественной атмосферой того времени, чтобы чувствовать, почему имя автора-антиномиста, пошедшего наперекор, произносилось с уважительным ужасом”.

Пройдёт каких-то два года – и Ланщикову эту статью припомнят во время приёма его в Союз писателей. Рассадин буквально задыхался, когда оглашал свой отзыв:

– Редкостное неумение ориентироваться в литературном материале. Шарахается из крайности в крайность. То изображает абсолютно бездарным графоманом Аксёнова, талант которого общепризнан (кем?! – С. К.), то невероятно поднимает Д. Балашова. Часто аргументация просто отсутствует. А когда она есть, тут начинаешь просто колебаться: то ли это откровенная установка на подтасовки, то ли элементарное неумение и нежелание доказывать. Пристрастие к грубам ярлыкам вместо анализа и разбора. Бывает крайне грубо и недоброжелателен. . . Начинаешь вспоминать романы Ивана Шевцова. . . Панический перехлест. . .

Кажется, всё, что Рассадин говорил о Ланщикове, он вполне мог бы отнести к себе самому, во всяком случае, к своему выступлению. И тут на помощь ему подоспел уже известный нам Фёдор Левин:

– Его ответ на анкету “Дня поэзии-69”, по сути, ревизия ленинской концепции русского историко-литературного процесса, свидетельство полной идейной незрелости Ланщикова.

Лев Аннинский попытался говорить о предвзятости по отношению к критике, но его безапелляционно перебил Владимир Огнев:

— При чём тут предвзятость? Да, он человек способный. Но сделано им мало, умение анализировать текст часто подменяется декларациями, предвзятым конструированием схем (анализу рассказов Аксёнова, произведённому Ланщиковым, мог бы позавидовать любой современный критик! — **С. К.**). Они (то есть схемы. — **С. К.**) уличают Ланщикова в слабой общекультурной подготовленности. Вопиющим незнанием истории русской поэзии является его ответ на анкету “Дня поэзии—1969”, — по сути, это отрицание социальной литературы, её общественной роли в жизни... Дурную услугу, как всегда, оказывает молодыми библиотека “Огонька” — астрономическим тиражом выпущена идейно незрелая и агрессивная по тону брошюра Ланщикова.

Апелляция к “молодым” прикрывала совершенно эгоистичный посыл: добиться того, чтобы эти самые “молодые” “окормлялись” исключительно из брошюр и книжек, написанных либеральными “шестидесятниками”, которые априори никому и никогда не могут оказать “дурную услугу”... Этот посыл хорошо прочувствовал и понял многоопытный литературный дипломат и интриган Феликс Кузнецов, исследователь и горячий апологет революционных демократов, по статьям которого, кстати, написанным во славу “исповедальщиков”, Ланщиков не единожды “прошёлся” в своём сенсационном труде.

— Я неоднократно спорил с Ланщиковым так же, как и он со мной, и спорили мы подчас очень ожесточённо... И тем не менее я убеждён, что продолжать наши споры мы можем, находясь в одном Союзе. Я не считаю, что творческий союз — союз единомышленников, если иметь в виду эстетические позиции. И это хорошо: хуже было бы, если бы мы были выстроены по одному ранжиру, сделаны на одну колодку... Его “заносит” — особенно если иметь в виду наши нерешённые споры о народном и национальном... Но... это человек, бесспорно, одарённый, более того — талантливый. И я верю в него как в критика... Откуда эта резкая недоброжелательность, эти выпады в адрес личности?... А не утрачиваем ли мы человеческое в ажиотаже споров и борьбы?

Но эта апелляция к совести действия не возымела. Творческое бюро постановило “отложить приём до выхода новых работ”. Ланщиков стал членом Союза писателей ещё через несколько лет.

А что касается анкеты, опубликованной в “Дне поэзии—1969”, для которой собирал материалы и которую редактировал Вадим Кожинов, — о ней разговор впереди.

Чалмаева и Лобанова уничтожали не только в прессе, но и (что было гораздо эмоционально тяжелее) на писательских собраниях. 17 января 1969 года в Доме литераторов состоялось партийное собрание, на котором всю неистовствовали бывшие рапповцы — Фёдор Левин и Владимир Сутырин.

— За 50 лет советской власти не было напечатано у нас подобной статьи, — казалось, Левин находится на грани инфаркта. — Чалмаев ревизует всю ленинскую концепцию. Ответные статьи не были достаточно остры (так и слышится: “Какая жалость, что этого не случилось в мои молодые годы! Уж я бы им...” — **С. К.**). Статья Чалмаева — это одна из форм не ревизии, а вымывания марксизма... Солоухин в своих “Письмах из Русского музея” ратует за одного Нестерова — против всех демократов-передвижников... Марксизм — это нечто устаревшее, как считают многие...

Тут же слово взял Аркадий Васильев, незадолго до того выступавший как общественный обвинитель на “процессе Синявского—Даниэля”.

— Чалмаеву не надо было брать в союзники господина Леонтьева: ведь так недолго дойти и до Победоносцева. А писатели этого не обсуждают. Надо оперативно реагировать на такие статьи, а то начинаются пересуды: “Может быть, сверху пришло такое указание?”

Крайне интересная реплика. “Либеральная общественность” всюду распространяла подобные слухи, намекая (а то и изрекая прямым текстом), что власть при помощи “новых славянофилов” готовит “новый погром”.

Ну и, конечно, не мог пройти мимо этой животрепещущей темы делавший отчётный доклад Сутырин:

— Статья Чалмаева вызывает серьёзную озабоченность. В ней есть кощунственные строчки, где Чалмаев сближает В. И. Ленина с мракобесом Леонтьевым, которого Чалмаев называет “другом Толстого”...

Впрочем, здесь не было ничего неожиданного. Куда более интересный и насыщенный разговор (с участием Вадима Кожинова, Михаила Лобанова и Анатолия Ланщикова) состоялся 25 апреля на пленуме Совета по литературной критике.

На этом обсуждении наложились одна на другую несколько тем: “молодогвардейские” статьи; статьи И. Дроздова “Закат бездуховного слова” и И. Краснобрыжего, громящего фантастику братьев Стругацких, опубликованные в “Журналисте”; выход в “Огоньке” статей В. Воронцова и А. Колоскова “Любовь поэта” и “Трагедия поэта”, посвящённые взаимоотношениям Владимира Маяковского и Лили Брик, а также издание сборника “Маяковский в воспоминаниях родных и друзей”, где впервые были опубликованы жуткие по сути мемуары Е. Лавинской о “домашнем быте” “лучшего, талантливейшего поэта советской эпохи”; наконец, статья поэта Ивана Лысцова в провинциальной газете “Ленинское знамя” с грубыми выпадами против многих поэтов, опубликовавших стихи в “Дне поэзии-1968”.

Каждый из этих сюжетов заслуживает отдельного разговора. Но пока мы сосредоточимся на том, как оценивали собравшиеся авторов “Молодой гвардии”.

Доклад делал Вадим Соколов. Сейчас имя этого критика совершенно (и справедливо) забыто. Но были два периода в нашей литературной жизни, когда этот персонаж постоянно мелькал в печати с совершенно погромными выступлениями. Первый пришёлся как раз на конец 1960-х.

Сначала он подверг разному Дроздова и Краснобрыжего, потом перешёл к Лысцову и молодому критику Николаю Утехину. А потом...

— К сожалению, не только новички, но и профессиональные литераторы снижают в последнее время качество критики.

Приём испытанный: смешать в одну кучу средних литераторов с их далеко не самыми удачными работами и серьёзных писателей — с целью их дискредитации.

— Ланщиков как бы нащупывает просчёт Суровцева. А на самом деле Ланщиков, конечно, поддерживает основные намерения Чалмаева, несколько осуждая только методы Чалмаева. На самом деле в статье Чалмаева содержится ряд ошибочных идей, Ланщиков об этом ничего не говорит.

После Соколова выступил Валентин Оскоцкий, снова обрушившийся на Дроздова (“Около 10 раз в “Журналисте” упоминается журнал “Новый мир” — всегда негативно. И ни слова о том, что в “Новом мире” опубликованы произведения, получившие Ленинскую премию за 1968 год”). А потом пришла очередь Александра Когана.

— От Ланщикова всегда здорово достаётся его оппонентам, — начал он. — В полемике его со Стариковым было много интересного. Он умеет вести настоящий профессиональный разговор (кажется, в этом пытался отказать Ланщикову Рассадин. — **С. К.**). Но ему не стоит ставить себя в положение, из которого нельзя найти выход. У Вас, — это Коган непосредственно Ланщикову, — всегда видно, где Вы ратуете за истину, а где ратуете за свой журнал — за “Молодую гвардию”.

То есть, по его логике, между журналом и истиной не было ничего общего.

— В статье Ланщикова сказано, что у Чалмаева имеется своя методология. А мы-то считали, у Чалмаева ряд неверных, неудачных формулировок, оговорок, да и прямых ошибок, за которые его ругали, **пока весьма мягко** (выделено мной. — **С. К.**). Ланщиков признаёт некоторые “издержки метода” у Чалмаева. Но здесь разве в методе дело?..

Но разве “мягкость” критики Чалмаева могла устроить Фёдора Левина? Он и здесь оказался наготове с “тяжёлой артиллерией”. Но (пришлось смягчить тон) с очевидным пониманием — насколько изменилось время по сравнению с его временем, когда “нас водила молодость в сабельный поход”.

— Не надо делать вид, что Суровцев один не согласен с Чалмаевым. Вскоре после Суровцева была статья Чапчахова в “Литературной газете”... Чалмаев и его сторонники не видят никакой классовой борьбы в русской истории, марксизм выводят путём хитросплетений от протопопы Аввакума, будто и не было “3-х источников” Ленина. Игнорируют все народные бунты и революции, не замечая Герцена (у Чалмаева в “Неизбежности” были прямые ссылки на Герцена. — **С. К.**), революционных демократов... Зато Чалмаев приводит цитату из К. Леонтьева.

Это полный отказ от Маркса, другая историческая концепция.

Ланщиков в споре с Суровцевым все эти идеологические вопросы обошёл. Он похвалил Чалмаева за его намерения. Мы тоже не подозреваем Чалмаева в дурных намерениях (спасибо и на том... — **С. К.**). Мы ведь не разбираем персонального дела Чалмаева (что, можно вздохнуть спокойно? — **С. К.**). Но Вы, Ланщиков, спрятались за намерения Чалмаева, когда Чалмаев выступает против мещанства, безыдейности и модничанья в литературе — это хорошо. Но когда он видит истоки нашей истории в патриархальном крестьянстве, а рабочий класс и интеллигенция для него не существуют (они, что, “существовали” тысячу и более лет назад? — **С. К.**) — это плохо. Он перекликается с Лобановым, который выставляет толстовского Акима — того, который говорит: “Землица наша маленькая, не токмо скотину, курчонка некуда выпустить”.

Вы обошли главное в русской истории... Происходит вымывание марксизма, и это меня беспокоит. Я предлагал “Литературной газете” на месяц посадить группу историков, философов, литературоведов, которые разобрались бы во всех этих статьях, в этих тенденциях и опубликовали своё мнение. Я один не могу, не берусь это сделать в печати.

Мы имеем дело с каким-то идейным разбродом, с рядом антимарксистских статей. Руль выпущен из рук.

— Руль отбил “Журналист”, — послышалась реплика из зала.

— Нет, — парировал Левин, — “Огонёк” выхватил руль (в это время именно в софроновском “Огоньке” была напечатана серия материалов, которая привела Левина, таких, как он сам, и их последователей в состояние настоящего бешенства. — **С. К.**). И не только в литературе, но и в литературной политике. Например, Маяковский просил не поднимать сплетен вокруг его имени после его смерти. А “Огонёк” занялся позорными сплетнями. Петелин (заведующий редакцией критики в “Молодой гвардии”. — **С. К.**) написал недавно в “Огоньке”, будто все травили Михаила Булгакова и будто один только Сталин его поддерживал (неистойой травлей Булгакова занимались тогдашние друзья и товарищи Левина — многие из них ещё были живы, — и Левину совершенно не хотелось об этом вспоминать, потому и спрятались за Сталина. — **С. К.**). А в “Молодой гвардии” Коновалов заявил, что Сталин был гениальным полководцем (об этом и подумать нельзя было после бессмертной фразы Хрущёва, что “Сталин руководил войной по глобусу”. — **С. К.**). Читаешь всё это и только пожимаешь плечами...

О публикациях в “Огоньке” у нас ещё будет возможность поговорить. А пока послушаем Вадима Валериановича Кожина, который сразу расставил необходимые акценты, отделяя *овец от козлиц*.

— Нельзя обсуждать критические статьи на грани личного дела. Мне бы очень хотелось взглянуть, как эти три статьи будут восприниматься через 20–30 лет. Мы знаем, как сейчас выглядит высказывание критика Зайцева, назвавшего “Преступление и наказание” “позорным произведением”. Не так же ли будет выглядеть через 20–30 лет нелепое мнение Дроздова о Солженицыне или статья Ивана Лысцова “Глухота”? Все эти статьи вызовут у будущего читателя ощущение поразительного бескультурья.

Лысцов, защищая национальные традиции русской культуры, берёт себе в союзники — кого бы вы думали? Крайнего западника Тургенева, который говорил о России, что если бы она провалилась сквозь землю, то в мире ничего бы не произошло. Тургенев не случайно 20-ти лет выехал за границу и жил там всю жизнь, лишь изредка наезжая для получения доходов с имени (перерыв в несколько лет объясняется тем, что его не выпускали). В неудачном своём романе “Дым” устами героя Тургенев поносит Россию.

О статье Ланщикова. Я не совсем с ней согласен, но полемика его с Суровцевым и Чалмаевым очень интересна и серьёзна. Правда, споры идут, к сожалению, не о самом главном, не об отношении литературы к жизни. Споры идут о другом.

Экстремизм правый сейчас уже побеждён. Опасность идёт сейчас от левого экстремизма. Опасность идёт больше не с берегов Эльбы, а с берегов Усури.

Левый экстремизм нравится молодёжи, и она им на Западе заражена (Маркузе и другие). Левый экстремизм рядится в левые фразы. Поэтому он сейчас опаснее. Угроза, собственно, идёт и с Запада, и с Востока. И заключительная часть статьи Ланщикова поэтому очень важна.

Думаю, нет ничего странного в упоминании Кожиновым в подобном контексте имени Тургенева. Вот как вспоминал о спорах по этому поводу Дмитрий Урнов:

“Дело между нами доходило до крика, когда Вадим, как я думал, недопустимо принижал Тургенева в сравнении с Достоевским. Тургенев художественно воплотил те же психические состояния, которые Достоевский изображал без правдоподобной убедительности. Признавал это даже канонизированный Вадимом, никому другому не чета Михаил Михайлович Бахтин”. Может быть, Урнов услышал в каких-то словах Бахтина то, что ему очень хотелось слышать. Во всяком случае, у Урнова было своё мнение, у Кожинова — своё, и для Вадима Валериановича тогда Тургенев был Кармазиновым из “Бесов”. “Тургенев устами героя поносит Россию”, — уж Кожинову ли — ученику Бахтина — было не знать, насколько герой не отождествляется с автором?! Но в случае с Тургеневым — в то время — он отождествлялся! И в этом плане Тургенев для него как писатель, позволявший себе “отождествиться” с персонажем, был неизмеримо ниже Достоевского.

Говоря о “заключительной части статьи Ланщикова”, Кожинов имел в виду его размышления о Брестском мире в контексте разговора о Льве Толстом. Анатолий Петрович цитировал Урицкого, который заявлял, что Ленин “смотрит на дело с точки зрения России, а не с точки зрения международной”, и, отталкиваясь от политической полемики 1918 года, утверждал: “Ленин видел дальше всех и хорошо понимал, что судьба русской революции зависит полностью от настроения крестьянства, а не от эмоций противников “аннексионистского мира” и сторонников “революционной войны”... В той позиции, которую твёрдо занял Ленин во время брестских переговоров, очень легко угадывается автор статьи “Лев Толстой как зеркало русской революции”...”

Смысл был очевиден: попробуйте, господа нынешние “международники”, обвиняющие нас в “игнорировании Ленина”, ответить на вопрос: как вы труды вождя понимаете сами? Что актуально в них для сегодняшнего дня? Сами вы, часом, ничего не игнорируете?

И вот тут взял слово сам Ланщиков:

— Меня возмущает, когда начинают ругать “Молодую гвардию” и тенденции статей, но ничего не доказывают. Это возмутило меня в статье Суровцева. Не поняли, на что направлен мой основной пафос. Есть критики, которым всё дозволено. Пусть тогда нам объявят список таких критиков, которые имеют право определять — кто прав, кто виноват.

Анатолий Петрович (и я могу это утверждать, как непосредственный свидетель и собеседник) ненавидел любое передёргивание, любое жульническое шельмование в печати — чем бы оно ни было продиктовано. Если Кожинов в своих критических разборах временами позволял себе играть с оппонентом, то Ланщиков, не терпевший никаких лукавых маскировок, всегда выходил на бой с открытым забралом. Он был полемистом, в споре с которым требовалось не придирается к отдельным фразам, а опровергать весь строй его суждения, для чего требовались аргументы, что волей-неволей сами по себе “раздевали” незадачливого оппонента, сплошь и рядом обличая человека бездуховного, лишённого гражданской позиции или заурядного фальсификатора.

Его разговор на страницах “Молодой гвардии” о патриотизме, о Толстом, чуть не похороненном в пучине событий послереволюционных лет, базировался не только на прочитанном и хорошо усвоенном. Многие в современной жизни давали основания для укрепления однажды выбранной жизненной позиции.

Помню его рассказ об одном эпизоде как раз из описываемого времени. Потом, через много лет, я прочитал об этом же в его статье, опубликованной уже на склоне жизни:

“В конце шестидесятых мне довелось быть участником совещания молодых писателей в Красной Пахре, и там ежедневно устраивались встречи с “интересными людьми”. Однажды был приглашён какой-то чиновник из Моссовета, он сумел привлечь внимание аудитории своим выступлением, посыпались вопросы. Кто-то задал и такой: “Когда будет построен новый крематорий?” Чиновник чуть замялся, а затем ответил примерно так: “Строительство почти

завершено, но тут сложности с печами... Дело в том, что для того крематория, что был построен ещё задолго до войны, печи мы покупали в Германии”.

На мгновение установилась тишина, а затем в зале раздался дробный нервический смешок. И это понятно. В шестидесятых очень много писалось о гитлеровских “лагерях смерти”, широко демонстрировалась кинохроника, запечатлевшая зловещие “германские печи” — отсюда и такая наша реакция: оказывается, эти самые “печи” придумал вовсе не Гитлер, а цивилизованный атеистический мир. А мне тогда подумалось: “Как человечество относится к мёртвым, так оно будет относиться и к живым”...

Но вернёмся к прерванному разговору... Ланщиков был непритворно возмущён тем, что его исподволь заталкивают в “компанию” критиков, которых он не считал критиками, — того же Ивана Дроздова, того же Ивана Краснобрыжого или Михаила Синельникова, разнесшего незадолго до того в “Литературной газете” прекрасную и жёсткую повесть Николая Воронова “Юность в Железнодорожке”, опубликованную в “Новом мире”.

— Я не согласен со статьёй Синельникова о Воронове... В “Новом мире” мне многое нравится и многое не нравится... Все мы в какой-то степени уязвимы. В “Журналисте” “Новый мир” ругают, а в “Новом мире” ругают “Журналист”.

Тут и последовала реплика “из зала”:

— Но ведь есть и общие критерии!

Ланщиков отреагировал мгновенно:

— Общие критерии! Какие общие критерии? А кто их устанавливал? Не надо их.

Слово потребовал бывший “зек” Симон Дрейден. Этот начал “палить по периметру”, уже полностью игнорируя “Молодую гвардию”.

— В “Журналисте” № 4 за этот год — статья Котова Владимира, восторженная статья на сборник “Маяковский в воспоминаниях”, выпущенный под редакцией Колоскова и сестры Маяковского, хотя там напечатаны шизофренические (так! — **С. К.**) воспоминания Лавинской... У нас систематически распространяется миллионными тиражами клевета. Нечестно используются для этого средства массовой информации — “Огонёк” и другие органы. Где сейчас центр опасности? В попытках дезавуировать то, что говорилось на XX съезде и — возрождение культа Сталина...

Ни о каком “возрождении культа” и речи не было, но... доклад Хрущёва в сознании подобных людей был истиной в последней инстанции, а любое “покушение” хотя бы на одно из его положений воспринималось именно как пресловутое “возрождение”.

Разговор пошёл на повышенных тонах, и разрядить сгущённую атмосферу попытался Феликс Кузнецов, который сам был взвинчен до состояния высокого градуса:

— Мы здесь, кажется, уже выходим за пределы возможной критики! Кажется, я для себя уже разобрался, что это такое — эти статьи. Появилась некая тенденция, которая стала массивной. Некоторые редакции и критики самозвано взяли на себя право делать литературную политику с тенденцией на партийное руководство литературой, с монополией на своё собственное понимание партийности.

Нам не следует, однако, забывать, что разговор идёт не с врагами, а с товарищами по литературе, что они просто недостаточно точно определили своё отношение к некоторым проблемам... Но надо разграничить: статьи в “Огоньке” и статьи Чалмаева и Ланщикова — это разные вещи. Статьи Чалмаева и Ланщикова — очень серьёзное явление и подхода требуют серьёзно: это не то, что “Журналист”.

До недавнего времени у нас в литературе было два полюса: “Новый мир” и “Октябрь”. Сейчас мы наблюдаем возникновение в литературе и общественной жизни третьего полюса. Я ощущаю этот третий полюс: он уже сформировался вокруг “Молодой гвардии”, “Нашего современника” (заместитель Никонова, вологодский поэт Сергей Викулов недавно возглавил этот журнал, к которому до этого никто всерьёз не относился. — **С. К.**). Это не чисто литературное явление: оно вызвано какими-то серьёзными процессами. С помощью 10 человек, как предлагал Фёдор Левин, с этим явлением не справиться.

Это будет решаться гораздо медленнее и далеко не сразу. Явление это, очевидно, растёт из жизни, имеет свои духовные корни...

В XIX веке на поле борьбы сталкивались две основные тенденции, две концепции духовности.

В 30–40-е годы – западники – революционные демократы – народники – марксисты.

Вторая традиция идёт от Любомудров, Чаадаева (слава Богу, хватило у Феликса Феодосиевича соображения не определять Чаадаева в первый ряд! – **С. К.**), через молодых наших славянофилов, Достоевского, Владимира Соловьёва, Константина Леонтьева (который, кстати, наполовину выпадает из этого направления), через “Вехи”... через Бердяева, Фёдорова, Федотова, если брать современную буржуазную философию.

Через эту вторую линию так просто не перешагнёшь. Я убедился в этом, перечитывая сейчас перечисленных авторов. Эта вторая линия была нашу марксистскую интеллигентскую линию, которая шла через западников и демократов. Западники не выражали ни в малой степени русскую национальную линию (ценнейшее замечание! – **С. К.**). Демократы почти не ставили вопросов духовности. Не ставились они ни у Зайцева, ни у Писарева. “Народопоклонничество” и “чужебесие” заботились и о том, и о другом.

Вот я прочитал Бердяева “Истоки и смысл русского коммунизма” (одна из самых неумных бердяевских книг. – **С. К.**). А он как раз доказывает, что вся революционно-демократическая линия – вся исконно русская (да и марксистская).

В основе второй традиции лежит, собственно, допетровская Русь и её патриархальные начала...

А что, собственно, представляет собой национальное и народное начало сегодня, в наши дни? С этой точки зрения статья Чалмаева нужна, ибо не думать над всем этим нельзя. Весь вопрос в том, **как** они думают? Как они для себя согласовывают свою позицию с нашей современностью? Как сочетать позицию Чалмаева и марксизм? Как это сопрягается даже не с точки зрения догматов марксизма, а с точки зрения методологии? У Чалмаева подспудно чувствуется уничижительное отношение к революционно-демократическим традициям.

Но вот в эту минуту, когда Феликс Кузнецов заговорил на свою любимую тему – о революционно-демократических традициях, – он утратил всякую сдержанность и хотя бы видимость объективности. На головы апологетов “второй традиции” посыпалось одно обвинение за другим вперемежку с явно провокационными ходами.

– О традициях и о **современных народных истоках**, и – более серьёзный вопрос: как проявляется национальное народное начало в нашей современной жизни?

Вы полагаете, что оно проявляется в крестьянстве (как думали славянофилы в XIX столетии). Но ведь сегодня крестьянство совсем не то. Ведь у вас книжное, нереальное представление о народе, вы не знаете современного крестьянства. Вы ведь книжники.

Кому он это говорил? Фронтовику Михаилу Лобанову, который сам вырос в деревне, друзья и однополчане которого были потомственными крестьянами? Анатолию Ланщикову, который в Суворовском училище жил бок о бок и делил паёк с крестьянскими детьми? Это они, что ли, не знали народа? Или Феликс Кузнецов решил, что за них за всех должен “отыгрываться” один “книжник” Чалмаев?

А ведь самое интересное: с тех пор ни один ненавистник тех “молодогвардейцев” не выдумал ничего своего. Те же самые обвинения мы десятилетия спустя прочтаем и у Александра Ципко, и у Валерия Соловья, и у Николая Митрохина, которые, очевидно, решили, что знают народ “гораздо лучше”.

– Заметьте, что в современной литературе все патриархальные крестьяне – уже старики! Найдите Ивана Африкановича вашего возраста! Сегодня крестьянин-то другой совсем! И Белов лукавит с Африканычем после войны. И крестьяне, и рабочие, и интеллигенты – другие (особенно наша интеллигенция первого и второго поколения).

“Чем дальше в лес — тем злее партизаны”... Мы уже слышали от Дмитрия Урнова, как в подмосковных деревнях “попадались подобия Ивана Африкановича” при почти полном отсутствии трудоспособных мужиков. (Кстати, беловскому Ивану Африкановичу — ветерану войны — не было ещё и сорока. И где же это писатель лукавил? И не совершенно ли другим тоном начнёт писать тот же Кузнецов через несколько лет, когда познакомится с деревенскими жителями Валентина Распутина?) Кстати тут было вспомнить и утверждение Кожинова, что нет более современного произведения в нынешней прозе, чем беловское “Привычное дело”. Но Кузнецов, погружаясь в пучину азарта, уже ничего помнить не хотел.

— Для того чтобы поставить все эти вопросы на современные основы, нам надо начать самостоятельно мыслить, а не идти на поводу у XIX века. Сегодня никуда вам не уйти от Октябрьской революции.

Тут снова подал голос Александр Коган:

— Да, уж, кажется, никуда нам от неё не уйти!

Ободрённый Кузнецов разошёлся ещё пуще, уже переходя на грань прямого “шитья политики”. Кажется, он забыл, что собирался иметь дело “с товарищами по литературе”.

— Никуда не уйти от Октябрьской революции, от страны, которая давно европеизировалась. Пора понять, что беды не от социализма, а от недостаточности социализма, не от Европы, а от недостаточности Европы.

По-своему замечательно отождествление социализма в России с присутствием в ней “Европы”. Что же, интересно, имел в виду Кузнецов? Или он не помнил, что европейский социализм в XX веке носил название “национал-социализма”?

— У вас наивно-сентиментальная позиция в отношении деревни. Возьмите Яшина, Абрамова, Можяева, Белова. Вы не найдёте в этой современной честной, правдивой прозе своей сектантской точки зрения (а как же насчёт беловского “лукавства”? Правая рука не знала, что левая творит? — С. К.). А у Чалмаева в статье проглядывает отрок Варфоломей с нимбом вокруг головки.

Мы верим, намерения ваши хорошие. Но их надо положить на реальную основу. Или уж тогда быть последовательными и идти к Богу! Идти к патриархальному крестьянству как к идеалу. А это значит — неминуемо придти, прежде всего, к Православию (в отличие от католического западного пути). Идите уж до конца, к религиозно-идеалистической философии...

Вы хотите думать о народе. Но раньше надо было бы свериться, а чего хочет сам народ: возвращения вспять, или чтобы к нему, наоборот, пришло что-то новое? Поймите, что нельзя вечно и неизменно сохранять традиции!

Я против навешивания ярлыков. Я за то, чтобы разобраться, чтобы выйти на прямой спор, в котором, я убеждён, вы не выиграете. Ведь революционные демократы берегли традиции народности не меньше вас.

Он, кажется, решил, что всех революционных демократов здесь заменит один Николай Добролюбов, которого, кстати, и “молодогвардейцы”, и молодые учёные из ИМЛИ знали ничуть не хуже, если не лучше Кузнецова (Кожинов, кстати, был автором фундаментальной работы “Теория литературного творчества в работах Николая Добролюбова”, написанной ещё в начале 1960-х). Он уже успел забыть свои собственные слова о западниках, которые “не выражали ни в малой степени русскую национальную линию”, ни о демократах, которые “почти не ставили вопросов духовности”.

Встал Анатолий Ланшиков, который слишком хорошо понял провокационный ход Кузнецова: согласиться с тем, что они, молодые люди, жаждут “возвращения вспять”? Это в ситуации, когда достаточно было после многодесятилетнего перерыва напомнить в открытой печати о традициях отечественной мысли, толком только-только начиная столь важный разговор, — и уже признать себя “замшелыми консерваторами”? Прямо сказать: да, мы идём к Православию — и отрезать себе доступ к легальной отечественной прессе? Вся подспудная подлость происходящего была очевидна. И Ланшиков уже не сдерживал эмоций.

— Вы спрашиваете, чего мы ищем? Мы ищем утерянный идеал! Наша молодёжь идеала не находит. Это беспокоит даже ЦК комсомола. Вернее: идеалы

не находятся раз навсегда, они меняются от поколения к поколению. Литература, которая не ищет идеала, она уже стала на месте.

Критика культа личности — это раздражает именно потому, что прошло много лет, а мы всё критикуем одно и то же! Нельзя же критиковать только культ. Нам нужны и положительные идеалы. Мы все за то, что наша страна несёт прогрессивное начало. У нашей страны особый путь. Об этом говорил Достоевский. Потому и революция совершилась именно у нас.

— Это бердяевская концепция! — раздался голос “из публики”.

Ланщиков не дрогнул.

— У каждого — и у Бердяева тоже — есть своё рациональное зерно. У нас только в 30–40 лет людям приходится вдруг открывать Бердяева, Леонтьева и т. д. Понятно, что люди могут ими и увлечься. Ведь у этих мыслителей могли быть верные мысли — они не были корыстными людьми и не хотели всё погубить.

Кажется, это на втором съезде писателей был выпущен такой шуточный лозунг: “Поднимем нашу критику до уровня кулуарных разговоров” (то есть давайте говорить откровенно). Не надо навязывать людям идей, которых они не высказывали. Ивана Африкановича никто не возводил в идеал.

Об интеллигенции нет у нас настоящей литературы, кроме курочкинского “Урода”. Везде, где пишут об интеллигенции, схема: один — карьерист, другой — хороший.

Да, не идеальны ни Абрамов, ни Можаев, ни Белов. Но это литература. Причём вовсе не деревенская литература (в деревне её никто не читает), а литература для интеллигенции. Что они нам дали, эти писатели? Мы с их помощью восстановили свой язык. Они подходят по качеству к литературе XIX века. Если хотите знать, направление это началось с Солженицына. До Солженицына был “Тихий Дон” Шолохова. И — мы не знали Булгакова, Платонова, теперь мы и их открыли. Я считаю, что больше и лучше всех о культе сказал Булгаков в “Мастере и Маргарите”.

(Стоит напомнить, что первая публикация “Мастера и Маргариты” — правда, урезанная цензурой — состоялась в журнале “Москва” после того, как там стал главным редактором прозаик Михаил Алексеев, которого, почитая “сталинистом”, лютой ненавистью ненавидели как в “Новом мире”, в частности, так и в либеральном литературном сообществе в целом.)

— Недостатки деревенской прозы мы видим. Но через неё мы придём к настоящей литературе.

О религии. Я откровенно скажу: если отрицать роль Православия, я не знаю, что бы тогда осталось в России, пребывая она в язычестве. Православие — его не вычешь, как католицизм в Европе.

По методу Достоевского надо нам разобраться, где правда, где неправда (со всех сторон правды). Когда разговор начнётся в этом русле... но он не может начаться в этом русле!..

Крестьянство мы не идеализируем, хотя наша русская литература из крестьянства вышла.

Мы хотим вернуться к истокам не для того, чтобы на них остаться, а для того, чтобы, исходя из их нравственности, из их идеалов, двигаться дальше, строить новое.

Миссия нашего народа значительно выше, чем сейчас мы думаем. От нас ждут слова!

В этом замечательном (во всех смыслах) выступлении обращает на себя внимание та мысль, что произведения Абрамова, Можаева, Белова — это не деревенская литература. И дело не в том, что её не читают в деревне (в отношении Белова, как мы видели, это было не совсем так, точнее, совсем не так). Ланщиков опять пошёл “поперёк течения”: с 1962 года, со статьи ленинградского критика Владимира Акимова, опубликованной в “Неве”, всю литературу о деревне числили по линии “деревенской”, придавая этому эпитету явно уничижительный, в лучшем случае, суживающий и обкарнывающий суть дела смысл. Здесь Ланщиков наметил то, что сформулировал открытым текстом в написанной через 10 лет статье “Деревня и деревенская проза”: “... Нет у нас никакой “деревенской” литературы — всё это выдумки равнодушных людей. Современные острые вопросы деревни — это наши общенародные вопросы,

от правильности решения которых зависит судьба всего народа, а не только одного крестьянина. Современная литература о деревне – это общенациональная литература, и достижения её способствуют расцвету всей отечественной литературы, в том числе и литературы о городе. Забота о современном городе начинается с заботы о старой деревне. Ведь оно и впрямь, как аукнется, так и откликнется”.

Кажется, Ланщиков здесь словно окликнул Анатолия Передреева, написавшего в 1964-м свою знаменитую, ставшую впоследствии хрестоматийной “Окраину”.

*Околица, родная, что случилось?
Окраина, куда нас занесло?
И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село.*

*Взрастив свои акации и вишни,
Ушла в себя и думаешь сама,
Зачем ты понастроила жилища,
Которые ни избы, ни дома?*

*Как будто бы под сенью этих вишен,
Под каждым этим низким потолком
Ты собиралась только выжить, выжить,
А жить потом ты думала, потом.*

В это же время размышлял об этом стихотворении Вадим Кожин: “Перед нами – чуть ли не самый типичный образ современной жизни... За каких-нибудь два последних десятилетия на пространствах России выросли неисчислимые большие и просто огромные города, которые не могут удержать свою городскую энергию и атмосферу в своих непосредственных границах. Сила города переплёскивается, и на километры за его пределами образуется окраина – уже не город, но ещё и не село... Это стихи и о самом поэте, о его судьбе, очутившейся на грани, на пороге, который невозможно не переступить и невозможно переступить... Стихи прекрасны потому, что в них вошло, перелилось, обрело своё стихотворное бытие жизненное поведение поэта, его судьба, он сам, ушедший в себя и размышляющий на этой грани между городом и селом...”

В это время началось массовое уничтожение деревень в так называемом Нечерноземье, сселение жителей в “укрупнённые” посёлки. Во сколько человеческих жизней обошлась эта “операция” (ибо многие и многие люди не в состоянии были прижиться на новом “благоустроенном” месте и тихо умирали, многие подавались в города и, будучи не в состоянии обрести там себя, попросту пропадали), не известно по сей день. Это к вопросу о народе, “не желающем возвращения вспять”, на чём играл Феликс Кузнецов.

...Но пора подойти к финалу пленума. Заключительное слово произнёс Вадим Соколов.

– ...Меня насторожило начало выступления Кузнецова, которое я понял как поиск третьего пути. Между тем поиск третьего пути – дело безнадёжное. Информировав о Бердяеве, надо искать второй путь. Но не случайно этот путь зашёл в тупик. Попытка смирить себя с ним приведёт к лозунгу “За веру, царя и Отечество”. Никуда от этого не уйти, хоть сегодня никто такого лозунга не выдвигает... Царь часто сейчас скрывается за словом “государственность”.

“Благонадёжный” товарищ “шил” “неблагонадёжным” оппонентам монархизм. Во всяком случае всё в его выступлении было откровенно и недвусмысленно.

– Вовсе не идея Достоевского оправдалась в 1917 году. Меньше всего тогда Россия гордилась тем, что она “единственная” и “особая”. Речь шла тогда о международной революции. На особую роль Россия в 1917 году не претендовала. И не отгораживались мы забором от всего мира – “какие мы особые”!

Марксистам с бердяевщиной тут не смириться. Надо искать классовые, а не национальные корни революции и судить о ней не по “особой” роли русского народа. . .

О левых экстремистах говорил здесь Кожин. Но не кажется ли вам, что ведь факельные шествия в Китае мало чем отличаются от факельных шествий в фашистской Германии?

Занятную запись оставил в своём дневнике присутствовавший на этом ристалище Давид Самойлов: “Дискуссия о статье Чалмаева. Турков, Соколов, Кузнецов (либералы-тактики) говорят (разумно) о корнях, спорят с Леонтьевым и Победоносцевым. О современной функции не говорят. Не говорят о том, что “чалмаевщина” перспективнее, за ней многое стоит. Старый марксист Ф. Левин выглядит безнадежно устарелым евреем”.

Да уж где бы ещё с таким ожесточением говорили “о современной функции”, как не на этом собрании!

Запись пленума появилась в печати через три года в “Политическом дневнике” вездесущего Роя Медведева, изданном в Амстердаме в “Фонде имени Герцена”. Но появилась не полностью, за вычетом крайне агрессивных речей Юрия Суровцева и Владимира Огнева.

Показательно в этом отношении письмо Михаила Лобанова в редакцию журнала “Вопросы литературы”:

“Необходимая реплика.

В апреле 1969 года проходил пленум Совета по литературной критике при правлении Союза писателей СССР. Один из докладчиков на этом пленуме, Ю. Суровцев, на мой взгляд, бездоказательно обвинил ряд критиков журнала “Молодая гвардия”, в том числе и автора этого письма, не в чём ином, как в бесклассовом подходе к литературе и к самой истории России. Выступил и я на этом пленуме, считая нужным подчеркнуть, как важна для плодотворной работы нашей критики выработка общественно-эстетических критериев, достойных современного этапа народной жизни. Мне пришлось тогда показать (и это можно прочитать в стенограмме пленума), что обвинения Ю. Суровцева лишены оснований. Вот, например, Ю. Суровцев цитирует фразу из моей статьи: “У великих русских писателей была культура исторического мышления, т. е. совесть не только перед своими современниками, но и перед потомками. Писатель помнил: а что скажут обо мне потомки?” Ю. Суровцев увидел криминал в слове “совестливость”. Зацепившись за это слово, он вывел заключение о том, что критик не отделяет “демократическую культуру от культуры реакционной”, что он не видит в творчестве Л. Толстого противоречий, а это расходится с ленинской характеристикой творчества Толстого, и т. д.

В журнале “Вопросы литературы” (1969, № 8) напечатан обстоятельный отчёт о работе названного пленума. В этом отчёте даны все выступления, кроме моего. В журнале приводятся оценки Ю. Суровцева, в частности: “Ю. Суровцев подробно анализирует некоторые статьи М. Лобанова и других, напечатанные в журнале “Молодая гвардия”, и подвергает их критике за односторонние, не диалектические, а подчас и внеклассовые представления об истории России, о русском народе и русской культуре”. Самая элементарная добросовестность предполагает, так сказать, выслушать и “другую сторону” при столь грозном заявлении. Но о моём выступлении ни слова...

Думается, что журнал “Вопросы литературы”, опубликовав моё письмо, поправит это недоразумение.

М. Лобанов”.

Не от одного Суровцева Лобанов в досталь тогда наслушался обвинений в “патриархальности”, “внеклассовости”, “внесоциальности”. И когда заключительное слово взял председатель совета по критике Виталий Озеров, в его голосе уже звучал металл: “Мы обсудили вопрос о народности, обсудили самым исчерпывающим образом и можем закрыть эту проблему, не возвращаться больше к ней”. Когда Лобанов пересказывал основные эпизоды этого действия Анатолию Никонову, тот от души смеялся, но когда Михаил Петрович процитировал Озерова, главный редактор “Молодой гвардии”, уже предчувствуя дальнейшие перемены в своей жизни, поник головой, задумался. “Так они и в русской истории хотели бы закрыть все проблемы. Обсудили и закрыли”, — произнёс он после долгой паузы.

А что касается лобановского письма, то оно было опубликовано в “Вопросах литературы” ещё почти через год.

* * *

Выждав нужное время, почёл необходимым поучаствовать в травле “Молодой гвардии” и “Новый мир”.

Своя подоплёка была у этой истории.

До 1968 года “новомировцы” боролись преимущественно с так называемыми “сталинистами” в литературе в лице Всеволода Кочетова, Михаила Алексева, Виталия Закруткина и некоторых других писателей, причём серьёзный разбор их произведений, как правило, подменялся литературным фельетоном (то, насколько серьёзным к прозе того же Кочетова было отношение за рубежом, показывают хотя бы письма Сионского. Роман же Кочетова “Что же ты хочешь?” вызвал там настоящий литературный ураган. Мгновенно был осуществлён его перевод в Италии, на который откликнулся огромной уничтожающей статьёй Витторио Страда). Время от времени на страницах журнала появлялось нечто зубодробительное в адрес отдельных авторов “Молодой гвардии” вроде Ивана Ефремова или Ильи Глазунова... Но к концу 1960-х “политика” “Нового мира” приобрела отчётливо новый аспект.

Твардовский, видимо, считая, что реализует свою давнюю мечту, сочетая на страницах журнала традиции “критического реализма” с традициями революционными, попал в своего рода психологический капкан. Он, переживший несколько духовных переломов на протяжении своей драматической биографии (через два десятилетия Кожинов подробно опишет все эти переломы в статье “Самая большая опасность...”), оказался заложником новой “революционной” ситуации. Пересматривая и многое переоценивая в своей жизни (и Кожинов, и Передреев, печатавшийся тогда у Твардовского, и их друзья были потрясены его циклом “Памяти матери”, напечатанным на страницах журнала в 1966-м), Александр Трифонович оказался накрепко связанным с кругом людей (который он сам сформировал у себя в журнале), совершенно, по сути, далёких от него и во многом враждебных чему-то существовавшему в нём самом. При всём том, что должен был с ними сосуществовать и делать одно дело в окружении недоброжелательства, а то и прямой враждебности со стороны части партийных и литературных кругов. Обстановка, казалось, спланивала людей, которые в любой другой ситуации, возможно, если бы и сошлись друг с другом на короткое время, то разбежались бы чрезвычайно быстро.

И Твардовский прекрасно отдавал себе в этом отчёт.

“26. IX. 62. “Неприятности с Паустовским этим, которого чёрт дёрнул просить написать о Казакевиче для “НМ”. Неприятны в этой статейке мелкотравчатые штучки, “независимость”, “самый живой из всех живых”, “всё правильное” и “Август” Пастернака в чтении Казакевича. Копийку прислал для прочтения у гроба... Я, несмотря на настойчивость Данина, даже, м. б., раздражённый этой настойчивостью, отклонил это дело. Будет, возможно, демарш в отношении “НМ”, но бог с ними. Вообще эти люди, все эти Данины, Анны Самойловны (А. С. Берзер, зав. отделом прозы. — С. К.) и <нрзб.> во все не так уж меня самого любят и принимают, но я им нужен как некая влиятельная фигура, а все их истинные симпатии там — в Пастернаке, Гроссмане (с которым опять волынка по поводу заглавия очерка) и т. п. Этого не следует забывать. Я сам люблю обличать и вольнодумствовать, но, извините, отдельно, а не в унисон с этими людьми”.

“17. XI. 62. ...Нет у меня в редакции человека, для которого ж<урна>л был бы главной заботой, интересом его жизни, которого бы снабжал и советами, и помощью, и всей моей редакторской работой, но которому не я бы напоминал, не я бы писал деловые бумаги и т. п. (тот же проспект!), а наоборот бы!”

Это дневниковые записи Твардовского той “золотой поры” “Нового мира”, когда ещё никакого “партийного пресса” над журналом не было.

Когда Твардовский ещё в пору своего “первого редакторства” писал в ЦК КПСС, защищая статьи В. Померанцева, М. Щеглова, Ф. Абрамова и М. Лифшица, что “никакой особой “линии” у “Нового мира”, кроме стремления работать в духе известных указаний партии по вопросам литературы,

нет и быть не может”, он был абсолютно искренен и всю оставшуюся жизнь стремился придерживаться этого принципа. Другое дело, что сама партия выписывала замысловатые кренделя в своей идеологической политике и одни её “указания” подчас противоречили другим, не говоря уже о наличии “групп” в самом партийном ареопаге, одни из которых стремились Твардовского “съесть”, другие, наоборот, “возвысить”.

Его собственный личный авторитет, авторитет автора “Страны Муравии”, “Василия Тёркина”, “Дома у дороги”, поэмы “За далью — даль”, был непререклем как у писателей, так и у вождей. Другое дело, что всё меньше и меньше нравились партийным чиновникам новомирские публикации. Их приходилось отстаивать плечом к плечу с “командой”, в которой Твардовский своих единомышленников, по сути, не видел.

“Все их истинные симпатии там, в Пастернаке, в Гроссмане”... Твардовский безусловно солидаризировался с “симоновской” командой в оценке “Доктора Живаго” и увенчал своей подписью письмо в “Литературной газете” в 1958-м со словами о “нынешней постыдной, антипатриотической позиции Пастернака”. Что касается Гроссмана, то “новый вариант романа “Сталинград”, ставший потом романом “Жизнь и судьба”, Твардовский лично передал в ЦК ВКП(б) в 1954 году “с просьбой разрешить его к опубликованию”. Там было решено довести замечания ЦК по роману “до сведения редколлегии журнала “Новый мир”, предоставив на её решение вопрос о дальнейшей доработке и публикации”. Но доработка Гроссмана была такой, что редактор “Нового мира” запер роман в сейфе, откуда он и был изъят представителями органов государственной безопасности. После этого Твардовский не мог не думать, что Гроссман попросту решил “подставить” журнал.

А дальше, как говорится — круче.

Твардовский, сцепив, зубы, печатал совершенно противную ему мемуарную эпопею Ильи Эренбурга “Люди. Годы. Жизнь”, справедливо считая, что многое и многое из жизни в стране последних десятилетий Эренбург просто проигнорировал, а по поводу многого — бессовестно лукавил. Но отказать многократно лауреату и кумиру либеральной интеллигенции не мог. Когда к нему приходил и читал стихи Евтушенко, Твардовский вынужден — именно вынужден — был слушать этого “повсеградно обэкраченного” стихотворца, чтобы потом, потеряв терпение, сказать ему, что он не поэт, а напыщенный индюк. А после начиналось нечто фантазмагорическое. Стихи Евтушенко ставились в номер “соратниками по журналу” чуть ли не тайком от главного редактора, чтобы потом поставить того перед фактом: как же так, ведь это — легенда нашей молодой поэзии, так неужели же мы... (Примерно тоже самое ещё в первый период «Твардовского» редакторства происходило с поэмой Маргариты Алигер “Красивая Меча”, о которой Твардовский иронически говорил, что это “сорок тысяч вёдер воды”. Сотрудники журнала прятали Алигер, чтобы она не попадалась на глаза главному, опять же тайком доводили вещь “до ума”, первый зам Николай Тарасенков изводил “шефа” своими “надо!”, так, что, в конце концов, Твардовский не выдерживал: “Печатай ты! А я исчезну”).

Твардовский терпеть не мог Валентина Катаева и не любил его прозу, но опять же, уступая своей “команде”, уверявшей его, что “без Катаева”, тем более, Катаева “нового, современного” — “никак нельзя”, — и подписывал в номера и “Святой колодец”, и “Траву забвения”, и “Кубик” (кстати, Кожин, в отличие от многих своих сотоварищей, высоко отзывался об этих вещах. Он ценил Катаева как художника при всём своём идеологическом несогласии с ним). По старой памяти (видимо, со времён “Студентов”) Твардовский продолжал публиковать Юрия Трифонова, но и к “Обмену”, к представленным рассказам отнёсся весьма прохладно.

Взаимные чувства к редактору (прикрывая его наименованием “редколлегии”) испытывал и Трифонов, о чём написал в своих воспоминаниях, опубликованных через несколько лет после кончины прозаика. Его жутко раздражала “непереваренная почвенническая фанаберия XIX века”, присущая нелюбимым им авторам и сотрудникам “Нового мира”, который, по его словам, “тоже крутится в этой вселенной, ядром которой является нечто, называемое “почвой” или, скажем, “родной землёй”. По достоинству оценить эту трифоновскую тираду можно, если вспомнить, что в первом номере “Нового мира” за 1963 год было напечатано знаменитое стихотворение Анны Ахматовой “Родная земля”.

*Да, для нас это грязь на калошах.
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чём не замешанный прах.
Но ложимся в неё и становимся ею.
Оттого и зовём так свободно — своюю.*

Но имя Ахматовой Трифонов предусмотрительно не назвал. Вместо этого он обратил внимание на другую публикацию: “На выходе был Белов, какие-то уморительные “байки” или “бухтины”, о которых Александр Трифонович говорил с удовольствием”.

Если учесть, что эти воспоминания, написанные уже после кончины Твардовского, ходили по рукам, в частности, и по рукам “новомирских” авторов и сотрудников, то смысл происходящего не то что недвусмысленно истолковывался, но становился всем понятен.

Мы-то, конечно, все из “шинели” “Нового мира”, — говорил Трифонов, — и об Александре Трифоновиче у нас осталась исключительно благодарная память, и помним мы все о его борьбе с “догматиками” и “охотнорядцами”, затравившими нашего гения, но вот беда: подкачал-таки главный редактор. Не на тех поставил. Тоже был болен “непереваренной почвеннической фанаберией”, от которой так и не смог избавиться.

Твардовский не мог не понимать, что именно так о нём начали думать с 1966-1967 года многие из его “соратников” вроде Берзер, Закса, Левицкого, Саца, того же Дементьева. А если ещё учесть, что он не слишком берёт свой язык в стенах редакции, и время от времени у него прорывалось давно наболевшее...

Олег Михайлов вспоминал, как вёл в журнале разговоры с Твардовским о Бунине, о его окружении, о его архиве, о своей переписке с русскими эмигрантами.

“В Париж тогда приезжал известный коллекционер и искусствовед И. С. Зильберштейн — приценивался к бунинскому архиву. Видимо, считая, что я большая шишка, Зуров (секретарь И. А. Бунина. — **С. К.**) мне написал: “Присылайте к нам не коммерсантов, а писателей”. Я сказал об этом Твардовскому, и он неожиданно откликнулся:

— И правильно. Не будет же дворянин жиду православные бумаги показывать.

Я поёжился. За моей спиной сидела чуткая Софья Ханаановна. Да и вся редакция “Нового мира” на эти слова должна была прореагировать болезненно: публицистикой (точнее, прозой. — **С. К.**) заведовала А. Берзер, критикой — К. Озерова, жена Зиновия Паперного, рабочим членом редколлегии был Закс (позднее уехавший в Израиль), другим — Сац. Я просто не знал, что ответить.

В ту пору даже слово “еврей” было под негласным запретом. Как-то мы с моим другом П. поднимались по лестнице в редакцию “Нового мира”, и он довольно громко произнёс это слово (было бы нелепо упрекнуть его в антисемитизме — он и женат был тогда на еврейке). Тут позади нас что-то заскрипело. Мы обернулись и увидели повисшую на ручке двери маленькую скукоженную старуху. С тоскливой, тысячелетней ненавистью она сказала ему:

— Здесь работаешь?.. Сволочь!

И отпустила тяжёлую дверь”.

Твардовский не мог не понимать (и чем дальше — тем больше это понимание нарастало), что в редакции его окружают (и назойливо формируют свою “редакционную политику”) преимущественно “жиды”, независимо от их национальности.

Впрочем, в зависимости от национальности — тоже.

5 сентября 1968 года. В этот самый день между Твардовским и его бывшим заместителем (смещённым в 1966-м) Дементьевым состоялся примечательный разговор.

— Саша, — это Твардовский Дементьеву, — я больше не могу. У меня в журнале русских почти нет. Сплошное еврейское засилье.

— Ха-ха-ха! — Дементьев иронически засмеялся: дескать, совсем допился дружок, что порет такую “черносотенную хрень”.

— Что ты смеёшься? Это не смешно, мне, по крайней мере.

Твардовскому было, действительно, не до смеха.

Примерно те же мысли бродили и у Владимира Лакшина, в чём мы ещё удостоверимся.

Но понимание происходящего — это одно дело. А поведение, конкретные поступки — всё же другое.

Среди разговоров с Леонидом Леоновым, которые Владимир Десятников записывал в свой дневник, был и такой:

“— Какие они атаки на меня делали! — сказал Леонов. — Я выступал, а вот Твардовский не смог. Своих дочерей за евреев выдал. У него слабое место было — лесья любил. Они это нащупали, а когда он всё понял, то было поздно. Алексей Сурков рассказывал мне, со слов Соколова-Микитова, которому Твардовский жаловался: “У меня внуки...” — и Леонов, приставив палец к лицу, показал нос крючком. — Помню, — продолжал Л. М., — было чествование К. Федина. Я сидел в президиуме слева от Федина, рядом со мной — Эм. Казакевич и Твардовский. Они ведь были родственники — дочь Твардовского была замужем за сыном Казакевича. Вдруг слышу, Казакевич что-то рассказывает Твардовскому и через слово отборный мат сыплет. Я после этого долго не мог понять. Ведь он же интеллигент, зачем ему надо было так материться при всех? Потом понял: Казакевич этим самым хотел показать Твардовскому, что и он тоже простой мужик”.

Чем дальше — тем больше зрело внутри Твардовского многослойное и неразрешимое для него противоречие.

После похорон матери, после цикла, посвящённого её памяти, после того, как он вернулся воспоминаниями к родному Загорью, когда он вплотную (в 1966-м) сел за поэму “По праву памяти”, фактически посвящённую раскулаченному и сосланному отцу, — он всё более пристальное внимание обращал на прозу Василия Белова, Фёдора Абрамова, Виктора Лихоносова, Чингиза Айтматова (работавшего тогда в том же творческом русле)... И в то же самое время — в нём постоянно будировалось и нарастало раздражение “Молодой гвардией”.

Едва ли он сам читал этот журнал. Во всяком случае, на страницах его двухтомного дневника не зафиксировано ничего подобного. Но слушал своих журнальных “конфидентов”, которые не упускали случая расписать ему во всех красках поведение и творчество новых “охотнорядцев” и “шовинистов” (подбирая и озвучивая “нужные” цитаты из их работ со своими соответствующими комментариями). Всё это происходило на фоне постоянных стычек с цензурой, с периодическими газетными нападками. С цензурой Твардовский воевал при помощи записок, адресованных в ЦК КПСС, после чего задержанные материалы частично или полностью отправлялись в печать — за отдельными исключениями (тут ещё надо учесть, что в цензурном комитете сидели свои “болельщики” “Нового мира”, заблаговременно осведомлявшие редакцию о грядущих “акциях”). Количество критических материалов о “Новом мире” в это время уж никак не превосходило количество бранных статей о “Молодой гвардии” — и тот лексикон, который писавшие о никоновском журнале позволяли себе, в принципе был невозможен в печатном разговоре о журнале Твардовского. Другое дело, что “новомирская тема” преимущественно касалась откликов зарубежной прессы, которая представляла “Новый мир”, как “демократическую оппозицию” советскому режиму, что выводило Твардовского из себя.

И он всеми силами старался продемонстрировать и за рубежом, и в родном Отечестве не просто свой советский патриотизм, но своё “стремление работать в духе указаний партии по вопросам литературы”.

Твардовский долго не мог забыть свою встречу в Италии в журнале “Эспрессо” с Альберто Моравиа и приглашёнными журналистами, которые провоцировали Александра Трифоновича на всём протяжении разговора. То спрашивали об отвергнутой им книге Евгении Гинзбург “Крутой маршрут”... Гинзбург, мать Василия Аксёнова, написала мемуары о своём аресте и лагерной жизни с точки зрения “правоверной коммунистки”, а Твардовский этого сочинения терпеть не мог, о чём и сказал открытым текстом на упомянутой встрече... То следовал вопрос о Бабеле, и Твардовский сказал, что этот писатель ему не интересен. В общем, вёл себя совершенно не “политкорректно”, но ничто не помогло ни на Западе, ни на родных нивах. Там из него и его

журнала лепили “антикоммунистическую оппозицию”, здесь настойчиво интересовались: почему это его и его журнал так обхаживают “западные антикоммунисты” и почему главный редактор не даёт им настоящего отпора?

От всего этого вместе взятого впору было запить, и Твардовский периодически уходил в самые настоящие запои, о которых оставил воспоминания не только Солженицын. Об этом же писали непосредственные свидетели и “соучастники” – Александр Вампилов, Алексей Марков, Владимир Фирсов... После того, как была написана основная часть поэмы “По праву памяти”, Твардовский смог написать лишь одно более или менее цельное стихотворение, посвящённое памяти Гагарина. Всё остальное не выдерживало даже самой снисходительной критики.

Водка давала возможность заглушить и собственную совесть – Твардовский не мог не понимать, какую подлость он совершает, включаясь в травлю “Молодой гвардии”.

Но – положение главного редактора “лучшего журнала”, стоящего на посту “социалистической демократии”, обязывало. И была жажда доказать: мы – не враги, мы – свои. А настоящий враг – вот он, уже неоднократно раскритикованный в советских газетах. Но раскритикованный, похоже, недостаточно. Мы это сделаем лучше.

В № 3 журнала за 1969 год появилась статья Игоря Дедкова “Страницы деревенской жизни”, призванная, по сути, утвердить монополию на истолкование прозы таких “новомирских” авторов, как Виктор Лихоносов и Василий Белов, а также прозы Георгия Семёнова.

Для Дедкова идеалом литературы о деревне оставались очерки Овечкина и Дороша, повести и рассказы Тендрякова и Троепольского. А фразеологию “молодогвардейских” авторов он не переносил, что называется, на дух.

“То тут, то там на журнальных и газетных страницах замелькало: “голос земли”, “твёрдая почва народной жизни”, “величие русской души”, “народный дух”... “русское, отчее”, “святыни народной жизни”... Бывает монополия на торговлю водкой и табаком, на истину, бывает монополия на патриотизм. Похоже, что перед нами претензии именно такого рода... Такая всё обнимающая национальная гордость вкуче с высокомерием загарцевали вдруг на владимирских тяжеловозах, такое умиление разлилось вдруг окрест, что невольно диву даёшься: откуда что и взялось?..”

Само собой разумеется, бить авторов, “идеализирующих” деревенскую жизнь, и критиков, “идеализирующих” сих авторов, нужно тяжёлой “классической” дубиной. “Чехов и Бунин были жестокими и мрачными изобразителями мужаика. Но мы знаем, что Чехов и Бунин были в том споре правы, ибо долгие века и годы тяжела и застойна была сама атмосфера российской жизни, и иной русский человек, особенно в деревне, складывался, впитывая гражданскую пассивность и послушание как основные гарантии житейского благополучия, выживания вообще...” (Кстати сказать, Кожин не испытывал особой любви к Бунину, говоря, что своей “Деревней” он “оклеветал Россию”). Любопытно, что Дедков в своём социологическом анализе начисто “забыл” (или пожелал забыть) о крестьянских бунтах начала века, о деревне, которую куда лучше Бунина и Чехова знали писатели “Русского Возрождения” – Есенин, Клюев, Клычков, Орешин, Ширяевец... Но о них, само собой, здесь и памяти не было.

“Спору нет, – писал костромской критик, – рекламируемая ныне на всех перекрёстках “философия патриотизма”, её скрытые и явные потенции и претензии, причины известной её популярности и её общественный смысл – тема особая, несколькими абзацами тут не обойдёшься. Она заслуживает специальной статьи, может быть, и не одной...”

И такая “специальная статья” появилась в следующем номере журнала.

Поначалу в “Новый мир” сунулся со своим опусом вездесущий постоянный автор “Молодого коммуниста” Александр Янов. Он в своих описаниях литературной борьбы конца 60-х потом не скупился ни на какие сгущения красок, представляя “молодогвардейцев” опаснейшими “врагами режима”, чуть ли не диссидентами: дескать, о статье Лобанова “даже на кухнях говорили шёпотом” (близко ничего подобного не было – напротив, шли широчайшие обсуждения в официальных и неофициальных писательских собраниях и на читательских встречах) О своей же собственной попытке вмешаться в эту борьбу он оставил чрезвычайно любопытное свидетельство.

“Не скрою, мои воспоминания об этом эпизоде окрашены личной обидой. В “Новом мире” лежала тогда (и даже была одобрена на уровне отдела) и моя статья против “чалмаевщины”. Спокойная статья, историческая, ироничная – в духе дискуссии о роли славянофильства в русской истории, которую затеял я в том же 1969 году в академическом журнале “Вопросы литературы” (я открывал эту дискуссию в майском номере большим эссе “Загадка славянофильской критики” и завершал “Ответом оппонентам” в декабрьском, кстати, живого места не оставив от того же Дементьева (хоть и состоял он первым заместителем Твардовского, марксистом он был на удивление кондовым)).

Смысл моей статьи, предложенной “Новому миру”, был тот же, что и в дискуссии: славянофильство уже имеет на своем счету одну “потопленную” им российскую империю. Дайте ему волю, “потопит” и другую. В ядерном веке, балансирующем на грани самоуничтожения, “византийская идея отречения от мира как главного подвига человека” – не лучший способ воспитания солдата, который завтра может оказаться в шахте с ядерной ракетой. Об остальном читатель должен был догадываться сам: таков был закон эзоповского языка, на котором мы тогда общались.

Важно для нас во всём этом лишь то, что либеральным ответом “чалмаевщине” могла моя статья стать убийственным, а серьёзных неприятностей журналу не принесла бы, как не принесла их дискуссия “Вопросам литературы”. Но руководство “Нового мира” решило иначе. Возможно, потому, что после скандала с Синявским (всё-таки любимый автор журнала отбывал срок в мордовских лагерях за антисоветские рассказы, напечатанные вдобавок за рубежом, и “октябристы” вдоволь над ним за это поиздевались) решили продемонстрировать, что тоже любят Софью Власьевну – так на либеральном жаргоне называлась тогда советская власть. А возможно, потому, что уж очень настаивал Дементьев, всё-таки первый зам. Так или иначе, мне статью вернули без объяснения причин, а кондовый опус Дементьева на беду свою опубликовали”.

О дискуссии в “Вопросах литературы” у нас будет отдельный разговор. Здесь же интересно следующее: Янов до сих пор продолжает считать, что славянофильство “потопило” Российскую империю (историческая безграмотность этого заключения – на грани одесского анекдота). Само собой, Советский Союз обязательно “потопят” “новые славянофилы” (и этот бред поныне гуляет по трудам, кичащимся своей “академичностью”).

Но Янов, уже успевший к тому времени защитить диссертацию по Константину Леонтьеву (основной вывод которой был: “. . . Не пришлось Леонтьеву при жизни сослужить свою службу реакции. И попытки заставить его служить ей после смерти, конечно, тоже обречены”), по “вкусу” не пришёлся ни Твардовскому, ни большинству его “команды”. Особых умственных изощрений здесь было не нужно – требовалось нечто простое и пропагандистски-убойное. Твардовский, писавший в это же время в дневнике о “рабьем духе” Александра Дементьева, предоставил ему огромную журнальную площадь для погромнейшего материала. Так и появилась в четвёртом номере журнала статья “О традициях и народности”.

Писано и говорено об этом сочинении более чем достаточно. Даже неистовые апологеты “Нового мира” морщатся и едва ли не зажимают нос, когда пытаются хоть чем-нибудь оправдать её появление на свет Божий. Потому что подобного текста не появлялось на страницах советской печати со времён пресловутого Авербаха и Лелевича. Похоже, Дементьев в своём поносительском раже превзошёл самого себя, то есть Дементьева времён “борьбы с космополитизмом”, когда он с упоением громил с привлечением всевозможных политических ярлыков своих литературных противников.

Он начал с выпадов против Алексея Метченко и Анатолия Ланщикова. Потом перешёл к Чалмаеву: “Его статьи, если отвлечься от некоторых привходящих обстоятельств, не заслуживают серьёзного разговора. Они не отличаются ни глубиной или оригинальностью идей, ни убеждённостью, ни блеском изложения. В них больше пены и накипи, брожения смутных эмоций и желаний, чем продуманного содержания”.

Казалось бы – о чём тогда речь? Но далее огромную часть своей статьи Дементьев посвятил исключительно Чалмаеву. Напомнил о “буржуазной и социал-шовинистской печати”, что подняла “клеветническую кампанию против большевиков, обвиняя их в отсутствии национальной гордости и любви

к родине"... Понятно, откуда ноги растут? Само собой, тут же цитировалась статья Ленина "О национальной гордости великороссов". Противопоставил Дементьев заодно советский патриотизм русскому. "С псевдопатриотизмом разного рода передовая общественная мысль России и унаследовавший её традиции ленинизм всегда вели непримиримую борьбу. И даже славянофилы и названные в статье В. Чалмаева Ап. Григорьев и В. Ключевский, при всех их достоинствах, не могут быть в наше время высшим авторитетом при решении вопросов патриотизма, народности, национальных традиций". А как же "старое, грозное оружие" — идеалы Чернышевского и Писарева? Почему это у Чалмаева "их ореол померк"? В глазах Ленина он не мерк? А вы что-то имеете против?

"Ведь не думают же В. Чалмаев и В. Кожин, что деспотизм и реакция способствуют развитию литературы и искусства?" А что, если думают? И невдомёк было этому псевдоучённому, помешанному на вульгарном социализме, что, как писал Кожин, "эта примитивная логика начисто опровергается реальной историей литературы". Но Дементьева несёт дальше, он, кажется, уже сам забыл то, что когда-то учил, и кроме "Краткого курса истории ВКП(б)", ничего не осталось в памяти. С подобным солидным "багажом" можно было беспрепятственно утверждать, "что в дореволюционной России существовала не только народная передовая демократическая культура, но и культура господствующих классов, реакционная и антидемократическая..." Что "гордясь ратными подвигами русского народа, мы совершенно чужды пафоса великодержавности, "ура-патриотизма" и отделяем справедливые войны за независимость отечества от несправедливых, захватнических войн царизма"... Вся эта несъедобная жвачка служила одной цели: обвинить "молодогвардейцев" в "национальном высокомерии и кичливости". В идее "национальной исключительности и превосходства русской нации над всеми другими", в идеологии, "которая несовместима с пролетарским интернационализмом"... Далее следует уничтожение статьи Михаила Лобанова: "Везде и всюду усматривает М. Лобанов "просвещённое мещанство". Его не проведёшь ни образованием, ни эрудицией, ни артистизмом, ни интеллектуализмом... Вообще многие мотивы статей В. Чалмаева и М. Лобанова — об оторванности интеллигенции от земли, о "просвещённом мещанстве", о сытости и вечном, о западноевропейском муравейнике и т. п. — весьма явственно звучали уже в полемике славянофилов и в особенности почвенников с "Современником". И уже тогда была очевидна их беспочвенность и антинародность... Со времён Герцена прошло много лет... появилась новая интеллигенция из рабочих и крестьян, преданная делу коммунизма и социалистическому Отечеству. Надо бы, кажется, принять это во внимание при разговоре о "просвещённом мещанстве"!"

Пройдёт двадцать лет, и эта "новая интеллигенция" покажет во всей красе, насколько она "предана делу коммунизма и социалистическому отечеству"... Но Дементьев ничего не желал ни видеть, ни соображать. Он был озлоблен одним: клеймением ненавистных "неославянофилов". Он "катил бочку" на всех поэтов, печатающихся в "Молодой гвардии", без разбора, не отличая Лысцова от Ларисы Васильевой, Шошина от Виктора Бокова, которого заодно хлестанул поистине страшным (в глазах критика) сравнением: "Может быть, В. Бокову и другим поэтам, охотно выставляющим себя "аржаными" и "конопляными", полезно напомнить известные стихи Н. Клюева, полемический смысл которых не требует пояснений", цитируя клюевское стихотворение 1918 года "Мы — ржаные, толокенные..." Более того, следовал вопросец с подходцем: "Не носят ли пристрастия наших поэтов несколько односторонний, "мужиковствующий" характер?" Цитировал поэму Алексея Маркова "Мать Есенина" и утверждал, что "Есенина любили". Поневолу вставал вопрос: кто любил? Народ, действительно, любил. А власть имущие? Начитанные люди не могли не вспомнить здесь "Злые заметки" Бухарина.

Дементьев издевательски раскавычивал строчки Николая Рубцова "И храм старины удивительный, белоколонный, пропал, как виденье, исчез среди померкших полей..." (потом из прижизненных книг поэта и долгое время из его посмертных сборников это классическое стихотворение "Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны..." неизменно удалялось). Как жуткую "крамолу" Дементьев квалифицировал появление в "Молодой гвардии" редакционной статьи "Тысячелетние корни русской культуры" — отчёт о новгородской конференции.

А завершался этот “труд неподъемный” цитатой из Программы КПСС, которая призывала “вести непримиримую борьбу против проявлений и пережитков всякого национализма и шовинизма, против тенденций к национальной ограниченности и исключительности, к идеализации прошлого и затушёвыванию социальных противоречий в истории народов, против обычаев и нравов, мешающих коммунистическому строительству”. Дементьев фактически прямым текстом говорил, что и он сам, и “Новый мир” в целом ведут эту непримиримую борьбу, поскольку подобных “проявлений” в комсомольском журнале более чем достаточно.

Цензура придержала этот номер из-за других материалов, но при помощи Агитпропа, возглавляемого тогда бывшим участником группировки Шелепина Александром Николаевичем Яковлевым, вовремя предавшим своего патрона, он вышел в июне месяце. “Молодогвардейцы”, да и все русские патриоты, читавшие этот опус, не могли не понять: такое стало возможно только при помощи партийных идеологов, которым никоновский журнал давно стоял поперёк горла. И начали готовить свой контрудар.

(Продолжение следует)